

ВИКТОР КУЗНИК

Мы снова вместе...



Чита
«Экспресс-издательство»
2023

УДК 82.822
ББК 94.4
К 89

Составители: **Б.И. Кузник, В.В. Попов**

Литературный редактор: **Б.И. Кузник**

Технический редактор, издатель: **В.В. Попов**

**Книга не смогла бы увидеть свет без финансовой поддержки:
Сергея Олеговича Давыдова** – основателя и генерального директора
инновационной клиники «Академия здоровья» в г. Чите;
Игоря Ильича Шахматова – профессора Алтайского
государственного медицинского университета;
Миры Викторовны Черновой – дочери Виктора Кузника;
**Министерства здравоохранения Забайкальского края;
Ректората Читинской государственной медицинской академии;
Ирины Вячеславовны Левкович** – министра культуры Забайкальского края

К 89 **Кузник Виктор Ильич**
«Мы снова вместе...». Стихи, поэмы, песни, повесть «Судьбы наши» //
В.И. Кузник. – Чита: «Экспресс-издательство», 2023. – 312 с., ил.

ISBN 978-5-9566-0524-0

Мы снова вместе... – книга поэзии и прозы Виктора Ильича Кузника – поэта, прозаика, врача-хирурга. Его творчество чрезвычайно многообразно. Стихи посвящены природе, вечным ценностям: любви, дружбе, свободе. Часть стихов положена любителями и композиторами на музыку, его песни поют уже несколько поколений бардов. В сборник включена повесть «Судьбы наши», посвященная нелегким и благородным будням врачей. В книге также опубликованы материалы о Викторе Кузнике – воспоминания родных, друзей, коллег, статьи о его творчестве, стихи, посвященные поэту. Верится, что книга найдет отклик в душах ее читателей – любителей литературы.

УДК 82.822
ББК 94.4

ISBN 978-5-9566-0524-0

© Кузник Б.И., 2023
© Попов В.В., 2023
© «Экспресс-издательство», 2023



Виктор Ильич Кузник

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Уважаемый читатель!

Перед Вами книга Виктора Ильича Кузника – врача-хирурга, поэта и прозаика. Он был одним из самых известных в стране хирургов, более 25 лет спасавший больных от запущенных форм заболеваний легких, лечить которые отказывались даже ведущие клиники страны. Он был также выдающимся поэтом, талант которого высоко оценивали мастера слова и Забайкалья, и России. Булат Шалвович Окуджава, которому брат поэта Борис Ильич Кузник прочитал стихи о Дон-Кихоте, сказал, что так может написать далеко не каждый профессиональный поэт. Стихи Виктора Кузника, положенные на музыку, и в наши дни являются любимыми у бардов, туристов, путешественников, исполняются под гитару у костра. Высокую оценку в писательской среде получила также проза Виктора Кузника, которая до сих пор была известна только в рукописях.

Виктор Ильич прожил короткую жизнь – десяти дней не хватило, чтобы отметить пятьдесят три года. Но он остался в памяти многих и многих людей как человек огромного таланта. Ему был ниспослан дар – быть Человеком в самом возвышенном смысле этого слова. Все знания, опыт, силы, а также теплоту своей души он отдавал больным, своим пациентам, спасая их жизни. Как врач-хирург он имел высшую квалификационную категорию. Выполнил около четырех тысяч уникальных операций, в том числе – «впервые во фтизиатрии». Он был также известным ученым, выступления которого на научных конференциях, симпозиумах, съездах встречались громом аплодисментов.

И еще он был поэтом. Настоящим поэтом, стихи которого затрагивают самые сокровенные струны души. Ему был дан дар видеть красоту мира, чувствовать потаенную жизнь природы, неповторимость каждого мгновения бытия – и передавать это в Слове. Он не стремился опубликовать свои стихи. Лишь после его ухода, выполняя святой долг перед братом, Борис Ильич Кузник – известный ученый, профессор Забайкальской медицинской академии издал два сборника его стихотворений: «Я – живой, взгляните на меня»

(Чита, 2005) и «Я вновь живу...» (Чита, 2007). К настоящему времени они стали библиографической редкостью.

Идея публикации данной книги возникла на вечере памяти Виктор Ильича, прошедшем в Забайкальской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина 22 мая 2022 года. Инициатором издания выступил брат поэта – Борис Ильич Кузник, и его предложение единодушно поддержали все участники вечера. В книгу включены стихотворения, опубликованные в сборниках «Я – живой, взгляните на меня», «Я вновь живу...», а также ранее не опубликованные стихи и проза из рукописного наследия, хранящегося в семейном архиве родных поэта. Отдельными разделами в книге напечатаны материалы, посвященные Виктору Ильичу и его творчеству – воспоминания родных, друзей, коллег, рецензии на книги поэта, стихи, ему посвященные.

Книга появилась на свет благодаря родным поэта: Борису Ильичу, сестре Зое Ильичичне, дочери Мире Викторовне, предоставившим материалы для книги, – стихи, не опубликованные рукописи и фотографии. Помощь в сборе материалов для ранее изданных сборников, стихи из которых вошли и в данную книгу, оказали также дочь поэта Ольга Викторовна и его супруга Светлана Юрьевна.

Особо хочется отметить вклад Бориса Ильича Кузника, он многократно вычитывал тексты книги, дабы не допустить неточностей, вносил правки в структуру сборника, собрал воспоминания людей, знавших о брате не понаслышке. Поддерживала его дельными советами, вниманием и заботой верный спутник жизни – Элеонора Самуиловна.

Спасибо всем, кто помог издать книгу. Особую признательность хочется выразить спонсорам, оказавшим финансовую поддержку для ее опубликования.

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ,

поэт, член Интернационального и Российского Союзов писателей,

член Совета по развитию культуры и искусства

при Губернаторе Забайкальского края,

сопредседатель Забайкальского регионального отделения

Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России»

О МОЁМ БРАТЕ

Когда я читаю стихи брата, у меня болью сжимается сердце. Он умер, не дожив десяти дней до пятидесяти трёх лет. Умер от рака лёгкого.

Брат был хирургом. Более двадцати лет он спасал с помощью скальпеля больных от запущенных форм туберкулёза и рака лёгкого. Он брался за любые операции на лёгких. Когда от больного отказывались в специализированных онкологических центрах Новосибирска, Москвы и Ленинграда, он брался за скальпель и не только на многие месяцы и годы продлевал жизнь больного, но и нередко спасал его, казалось бы, от неминуемой смерти. А его самого не смог спасти даже нож замечательного хирурга-пульмонолога, академика М.И. Перельмана. Опухоль срослась с аортой и отделить её, не поранив сосуд, было невозможно.

Брат был потрясающим врачом. Именно потрясающим. Он умел не только оперировать, он умел выхаживать больных. После тяжелой операции он по нескольку дней, а то и недель, не выходил из реанимационного отделения. Он спал тут же, рядом с больным, отзывался на каждый его стон или просьбу. Своего больного он не доверял никому из коллег и сам по ходу болезни корректировал лечение. Я знаю случаи, когда он по три-четыре недели не появлялся дома, боясь ни на минуту оставить больного без присмотра. И ведь добивался своего! И делал это не за деньги, а по велению сердца. Так ему велел его врачебный долг.

Он был не только врачом, но и ученым. Он никогда не работал в научно-исследовательских институтах или учебных заведениях, и его работы исходили исключительно из задач практики. Он впервые в мире, когда еще даже не проводились опыты на животных, сделал две успешные операции по пересадке диафрагмы больным. Его выступления на научных обществах, конференциях, съездах встречались громом аплодисментов. Если в Барнауле или Орле, где он работал, знали, что на заседании будет выступать Виктор Кузник, зал был всегда переполнен.

Ему не раз предлагали написать кандидатскую диссертацию по материалам своих исследований. Через несколько лет после того, как он предложил метод пересадки диафрагмы для поджатия лёгкого при кавернозном туберкулёзе, появились первые статьи о подобных операциях на животных.

– Подумайте, Виктор Ильич, – говорил ему как-то известный фтизиатр, хирург А. Шабад, – что вам стоит написать диссертацию. Весь

ваш обзор литературы будет состоять из двух случаев, описывающих операции по пересадке диафрагмы у собак. Поверьте, диссертация вам не помешает.

Когда я заговаривал с ним на эту тему, то слышал всегда один и тот же ответ: *«Если я достоин ученой степени, то пусть мне её присвоят без защиты. Почему я должен, как мальчишка, сдавать экзамены и тратить время на описание того, что уже опубликовано в журналах. Диссертации пусть пишут такие, как ты. А мне некогда, меня ждут больные».*

Это не была гордыня! Ему действительно было некогда, он буквально отдавал жизнь своим больным.

Но это был не только хирург и ученый. Он был поэтом.

Он начал рифмовать с четырёх лет. Любовь к поэзии нам в семье привила мама. Наш дом был всегда завален книгами. Популярные в те годы журналы «Пионер» и «Мурзилка» мы зачитывали до дыр. С раннего детства я и брат, а затем и сестра, воспитывались на стихах и сказках А. Пушкина. Книги К. Чуковского, С. Маршака, Л. Квитко, А. Барто, С. Михалкова, Д. Хармса, Р. Киплинга были у нас настольными. Да мама и сама экспромтом сочиняла нам сказки, стихи и даже поэмы. У неё никогда не было записей. Обладая удивительной памятью, она тут же запоминала сочинённые ею стихи наизусть. Сейчас я понимаю, что это не были шедевры поэтического творчества, но мы с ранних лет полюбили рифмованные строки и сами стремились рифмовать. Одно из маминых «произведений» я помню до сих пор:

*Боря с Витей в жаркий день,
Перепрыгнув чрез плетень,
Собирались к реке –
Прокатиться на челне.
Вот и чёлн стоит готов,
Жив и бодр, и здоров.
Приглашает он детей
Прокатиться поскорей.
Боря первый в лодку прыг –
Рыбка выскочила вмиг.
Укусила Боре ногу
И отправилась в дорогу...*

Я не собираюсь цитировать всё стихотворение. Я просто хочу передать ту атмосферу, которая царила в нашем доме.

Мама не умела читать стихи с выражением да к тому же картавила. А вот папа! Он прекрасно читал стихи, но, будучи очень занят, редко читал их нам. Но зато, когда читал, это был настоящий праздник.

Мне рифмы всегда давались с трудом и были подчас неуклюжими, зато брат рифмовал очень легко. Уже в восемь лет, когда шла финская война, он написал стихотворение о подвиге наших бойцов. Я не помню его, хотя уже в то время понимал, что это зрелое и далеко не детское стихотворение.

*Ты помнишь, товарищ, как финнов мы били,
Как наши гранаты их крепость рушили?*

Поэзия всегда была для него отдушиной. Брат прекрасно знал классическую русскую и зарубежную литературу. Он не мог пройти мимо книжного магазина или киоска, если видел там книгу стихов. И когда я спрашивал, зачем ему нужна явно посредственная поэзия, он только удивлённо пожимал плечами:

– Понимаешь, брат, его же печатают! Значит, он поэт. А у любого поэта хоть одна строка в сборнике будет по-настоящему поэтической.

И он умел находить эту поэтическую строку.

К большому сожалению, брат крайне небрежно относился к своему поэтическому творчеству и никогда не считал это серьёзным занятием. «Что значат мои стихи, когда на свете существуют Пушкин, Лермонтов, Блок, Фет, Тютчев, Шекспир». Он никогда не стремился что-либо опубликовать. И очень жаль...

И всё же с его творчеством люди были знакомы. Он написал немало песен, а наша сестра Зоя, научившись играть на гитаре, написала для них музыку. Теперь часть этих песен гуляет по свету. Собираясь у костров, ребята поют «Туристскую песню» и «Песню неудачников» и даже «Дон Кихота». А на одно из стихотворений брата «Крик трубы, скороговорка барабана...» написал музыку забайкальский композитор Г. Аверьянов, и эту песню прекрасно исполнял и он сам, и преподаватель музыкального училища Валентина Гуревич. Музыка к нескольким его стихам написала врач и талантливый композитор Наталья Балабанова.

Однажды при встрече с Б. Окуджавой я прочитал ему стихи о Дон Кихоте:

*Дон Кихоты из пехоты,
Не мужчины – пацаньё,
Вниз лицом легли в болото
В отражение своё.*

«Я не верю, что это написал ваш брат, – сказал мне Булат Шалвович, – так может написать далеко не каждый профессиональный поэт. Да и где-то я эти слова уже слышал».

В этот день я был по-настоящему счастлив. Б. Окуджава мог слышать, как пели песню о Дон Кихоте, слова которой написал брат, а на музыку их положила сестра.

Стихотворение о Дон Кихоте в творчестве брата является программным. Он и сам был Дон Кихотом, абсолютно бескорыстным. Это о себе и о нашем веке он написал:

*Будет мельницам работа,
Нынче люди, что трава.
Будут падать Дон Кихоты
Головою в жернова.*

Слишком часто он и сам попадал «в жернова». Он не умел приспособиваться, не умел лукавить. Нет, он не был святошей. Но больше всего на свете он ценил в человеке чувство долга и порядочности. Он не умел предавать друзей, хотя его предавали неоднократно. И, конечно, всё это не могло не отразиться на его творчестве.

К сожалению, судьба далеко не всегда была благосклонна к брату. В войну он заболел туберкулезом легких и шесть месяцев провел в туберкулезном санатории. Там он двенадцатилетним подростком познакомился с первой папиросой и до конца жизни не мог бросить курить. Не обошла его стороной и воровская компания более взрослых ребят. Но это продолжалось недолго, вскоре он понял, что с этой компанией ему не по пути.

Несмотря на все невзгоды, брат не был пессимистом. Он любил весёлые компании и шумные застолья. Но в разгар празднества мог выключить магнитофон и начать читать стихи. Читал всё подряд – Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Маяковского, Симонова, Миц-

кевича, Лорку... Читал стихи Виктор изумительно, как настоящий, большой актёр. И тогда все замирали, забывали о танцах, о вине, о стынущем горячем и просили ещё, еще! И так могло продолжаться часами.

Виктор не терпел невежества, зазнайства, лжи, фальши. Нет, брат не был святошей, и поговорка: ничто человеческое мне не чуждо – как нельзя лучше отражает его сущность. Но в одном он был неумолим. Он не прощал равнодушия, и особенно – бездушного отношения к большим людям. Он любил братьев наших меньших, умел любоваться природой и тонко ощущал её красоту. И всё это вы найдёте в его стихах.

Брат был не только поэтом, но и прозаиком. Он написал увлекательную книгу о работе хирургов, назвав её «Судьбы наши». Отрывки из этой книги еще в семидесятых годах прошлого века собирался напечатать читинский поэт Р. Филиппов в журнале «Ангара», но они затерялись в авгиевых конюшнях редакции. Сейчас мне и особенно благодаря дочери Виктора – Мире удалось собрать большую часть этой книги. И я счастлив, что она дойдет до читателей.

Публикуя книгу стихов и прозы, я выполняю свой святой долг перед братом. Я благодарен сестре Зое, вдове Виктора Светлане, его дочерям Оленьке и Мируне, оказавшим мне помощь в розыске стихов брата, большая часть которых, к сожалению, утеряна.

Я выражаю особую признательность издателю этой книги Валерию Попову, чья неутомимая энергия позволила появиться этой книге.

Б.И. КУЗНИК,

*заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор,
член Союза писателей России*





ХИРУРГ

Непобедимо и невольно
Боль подступает к животу.
Хирург, прислушиваясь к боли,
И стон, и крик зажал во рту.

Ломая ритм, рассудок, волю –
Удар в живот, один, другой.
Над операционным полем
Хирург сгибается дугой,

В одно мгновение сражённый.
Еще не зная ничего,
Три человека с напряженной
Тревогой смотрят на него.

Молчат, прислушиваясь чутко.
Но вопли рвутся изо рта,
Хоть содержимое желудка
Стекает к низу живота.

В глазах плывут и тают искры,
Но с болью справившись вполне,
Хирург, сквозь зубы: «Морфий, быстро!
Нет, не больному надо, мне».

Зажим, держатель, скальпель – значит
Не сдал, не повернулся вспять.
И беспримерный подвиг начат
С девизом: «Выстоять, молчать».

Косматый зверь осатанело
Рыча, вгрызается в живот.
А мастер точно и умело
Шьёт!

Чтоб, не подумав о попятном,
Над болью не утратив власть,
Смертельно раненным солдатом
Не сдаться, на пол не упасть.

ДОН КИХОТ

Всё на свете испытали,
Что там память ворошить!
Сколько их необитаемых
Островов твоей души.

А в разлуке всё не просто.
Вот и я устал, продрог...
Подари мне ну не остров,
Ну хотя бы островок.

Дни уложатся в недели,
А недели в год и два...
Всё в разлуке перемелют,
Перемешат жернова.

А на скользких циферблатах
Стрелок острые ножи...
Странный рыцарь в ржавых латах,
Ты хоть что-нибудь скажи.

Только праведник злосчастный
Промолчит. А он-то знал,
Знал, что мельницы опасны –
Убивают наповал.

Жерновам своя работа,
И свои мечты, и сны:
Перемелют Дон Кихотов
В тех, кому они смешны.

И рука колоть устанет,
Как там рыцарь не воюй.
И двадцатый век настанет
Растоптать мечту твою.

Будет мельницам работа –
Нынче люди, что трава...
Будут падать Дон Кихоты
Головою в жернова.

От Берлинского вокзала
До промёрзшей Колымы
Сколько их легло усталых,
Не вернувшихся с войны.

Дон Кихоты из пехоты,
Не мужчины – пацаньё...
Вниз лицом легли в болото
В отражение своё.

Ну а ты, куда из быта?
Носу в стремя и – в поход,
И еще один убитый
И забытый Дон Кихот.

Всё забыто, всё забыто.
Жизни – новые права.
Только острые копыта
Бьют по мёртвым головам.

Жёны ждать живых устали...
Мёртвым – пасмурный оскал...
Сколько их угробил Сталин,
Скольких Гитлер обласкал.

А из девичьих постелей
Ветер века всё сильней
Выдувает на панели
Белокурых Дульсиной.

Вот и ты... И ты устала...
Нам теперь навек одно:
Мне – звонить тебе с вокзала,
А тебе со мной – в кино.

И бредёт моя удача,
Чуть приметная во мгле,
Росинант – худая кляча,
По неласковой земле.

В спину крики и угрозы.
На попойки – не пиры,
Нас от подвигов уводят
Равнодушные одры.

Отдохнуть – ну день хотя бы...
Сколько сзади вех и дат?!
Вот седой я, как ноябрь,
И усталый, как солдат.

От разлук оцепенею
И в поход, опять в поход...
Только ты не Дульсинея,
Да и я не Дон Кихот.

Мёрзнут души. Вьюга плачет.
Люди встреченные лгут.
Знаю, надо бы иначе,
Я иначе не могу.



РОДНАЯ СТОРОНА

* * *

Здесь кругом над головою
Голубые небеса,
За зелёною листвою
Льются птичьи голоса.

Чья-то песня удалая
Затихает вдалеке.
Солнце, золотом играя,
Тихо плавает в реке.

Ширь небес, да гладь речная,
Да седые тополя...
Сторона моя родная,
Необъятная моя.

* * *

Хорошо б сейчас в Тяньцзине
Поваляться на песке,
Рыбу половить в стремнине,
Побарахтаться в реке.

Побродить с ружьём по лесу,
Или просто посидеть,
Под раскидистым навесом
В небо синее глядеть.

Ключевой воды напиться,
Чтоб была похолодней,
Шумом ветра насладиться
Средь разлапистых ветвей.



Виктор Кузник на отдыхе

* * *

Побросав на полку книжки,
Без дороги – налегке,
Скинув тапочки, мальчишки
Босиком бегут к реке.

Тропка – самый близкий путь,
Прямо с крутизны, с разбегу
Чайкой в воздухе мелькнуть,
Выстрелить упругим телом
В океан голубизны.
И комочком загорелым
Падать в мягкий всплеск волны.

* * *

В глаз улыбкой – неба синь
Рванью туч обрамилось.
Я хожу, пишу стихи,
Чтоб тебе понравилось.

Под ногами ярь брусник,
В изумруде листьев рдя,
Сыплет мне за воротник
Осень выморось дождя.

Оскелетил ветер лес,
Неба синь затмилась.
Вся вода со всех небес
Мне на горб скатилась.

Хоть один последний луч
Выблестни из милости!
Преет небо рванью туч,
Сыплет дождик из-за туч...
Как такое вынести?

* * *

Сестре Зое

Две сосны, как две весны,
Двух берёзок перманент,
Две зелёные звезды надо мной...
Но диплом с отличием
 заполняет осень мне,
И подписан памятью обходной.

Назову по имени ваши опасения,
Но не надо хмуриться, право, нет причин...
А листва осенняя, может, в ней спасение,
Да закат над озером непереносим.

Позднее крушение, праздное бессилие,
Мертвенно кружение мыслей и идей.
Гонит ветер к берегу шуструю флотилию
Разномастных лодочек – листьев по воде.

А над белой скатертью завтрашнего ужина
(Только не торжественно!)

выпьем по одной.

Не о чем печалиться,
и грустить не нужно бы,
Что подписан памятью обходной.

Две сосны, как две весны,
Двух берёзок перманент,
Две зелёные звезды надо мной.
Да золотые корочки
выплавляет осень мне,
И подписан памятью обходной.

* * *

Я приметы осени ищу.
Я грущу.
Над дорогой чёрной, над прудом
Одинокий галочий содом.
Осень входит в почерневший сад,
Землю осыпает листопад.

Город за день вымок и остыл.
Мир лежит, огромен и постыл.
Вянут лица, потухают рты,
Высыхают травы и цветы.
Мокнет в небе сонная звезда,
И кричат ночные поезда.

Город спит в кольце своих застав,
Пятна света в лужи побросав.
Жмутся к палисадникам кусты,
Сны их обворовано пусты.
Руки их застыли на ветру,
Им не отогреться поутру.

А над пустырями, над прудом,
Одичалый галочий содом.
Умирает лето, меркнет сад,
Птицы равнодушные летят.
Я цветы осенние ищу.
Я грущу.

* * *

Осень ночью в дым и клочья
Бестелесного тумана
Одевает, спрятать хочет
Перелески и поляны.

Рано утром из болота
Поплывут глухие тучи,
И как будто ждут чего-то,
Телом истомясь могучим.

Одуревший в гулких грозах,
Ветер кинется на доли,
Задирая на берёзах
Домотканые подолы.

Запоздалый гром ворчливо
Ворохнётся погода,
И осыплет шёпотливо
Лес упрёками дождя.

* * *

Глухо осеннюю грусть пою
Сердцем, дождями пьяным.
Слушай унылую песню мою,
Северный край окаянный.

Слушай, ветер, вой, затая,
Месяц упрятав в тучу,
Взвейся истерикой, песня моя,
В жёлтый озноб падучий.

Дождик и дождик над головой,
Серый, глухой и мозглый.
Сукой бездомной выплесну вой
В мокрое небо к звёздам.

Хныком тоскливым выплачу я
Жалкое «протестую!».
Криком возьмётся душа моя
И изойдёт впустую.

* * *

Осенний день пробит слезой,
Берёт своё – мытьём ли, катаньем.
А нам Восток грозит грозой,
А Запад – кровушкой закатною.

Не развернёшься с полпути,
Куда ты, сломанное деревце,
Идёшь, а не к кому идти,
Живёшь, а не на что надеяться.

Сдувает годы, как пыльцу...
Поминки, свадьбы, дни рождения.
А мы всё ходим по кольцу,
Да лжем про взлёты и падения.

Во все концы, куда не кинь,
Пространство в клетку разлиновано.
Вбивает в душу мёртвый клин,
Осенний лес листвою кленовою.

* * *

Когда улетают гуси -
Белым крылом по сини,
Белым крылом напишут
Песни свои.

Когда покидают гуси
Желтый север России,
Нам оставляют стихи,
Раздумьям сродни.

Когда улетают гуси,
В болотах вспухают кочки,
Голубоватым дымом
И смертью летящей в них,
И выпадает слово,
Но остаются строчки,
Но остается песня
Горечи и обид.

Ветер качает песню,
Солнце ей плавит крылья,
Падает на планету
Дымчатый тюль дождей,
Песни уносит к югу
Белая эскадрилья,
И уплывает песня
За вереницей дней.

Но крикнут о чем-то гуси,
Вытянув шеи страстно,
Мерно качая крылья
С северных вод на юг,

И уплывает песня,
Раненная пространством,
Долгой зимой эту песню
На севере люди поют.

Влет убивают песню
Рыжие карабины,
Ветер ломает ей крылья
И рвет белизну одежд,
И улетает песня,
Белые крылья кинув,
В море прощальной сини -
Голос своих надежд.

Когда улетают гуси,
Видят они оттуда
Красную скатерть листьев,
Пять горизонтов тьмы,
Двадцать горбатых сопок,
Как десять больных верблюдов,
Что понурились и сникли
В ожидание зимы.

* * *

Пустынны сны пустынь, и пасмурны, и странны
В непоправимых днях и вымерших ночах.
Безмолвно шевелят горячие барханы
Струю песка, как прядь, на каменных плечах.

И кто, не докричав прощаний и проклятий,
Кто лёг, не дошагав, в пылающий зенит...
Как цветовой поток на бронзовом закате,
Чалма на голове кочевника звенит.

И мне не докричать своей последней муки,
И песен не допеть. Как смертная тоска,

Удушливым жгутом мне свяжет рот и руки
Упругая струя калёного песка.

А павших не завлечь запасами съестными,
Прохладою ручьёв, цветением весны.
Закинуты в пески песчинками пустыни,
Пустые видят сны, пустые видят сны.

Прохлады не несёт нам ни восход, ни ветер,
Лишь медленный песок, шурша, листаает дни.
Как сон и как мираж на огненной планете
Людей и лошадей сгорают головни.

СТАРАЯ ПРИСТАНЬ

Здесь на старой пристани перила
Ласковая гладит темнота.
Здесь у старой пристани чернила
Ночь переливает у борта.

Здесь над старой пристанью орбиты
Древних звёзд короче и быстрее.
К доскам старой пристани прибиты
Тусклые медяшки фонарей.

И ночами при любой погоде
Спит она, волнений лишена.
И по белым сходням здесь не сходят,
Здесь на вас снисходит тишина.

Пароходы медленно таскают
Пассажиров, музыку и смех...
Лишь у старой пристани хватает
Поясов спасательных для всех.

ЛЮБОВЬ... ЛЮБОВЬ...

* * *

Мне всё чаще снится
Голос твой, твоя улыбка,
Как далёкая зарница –
Очень нежно, очень зыбко...

Я тебя люблю и помню –
Нежно помню, грустно помню.
Понимаешь, нелегко мне
Навсегда с тобой проститься.

Для чего такая мука,
И зачем такая дальность –
Идиотская разлука,
Беспросветная кандалность.

Просто странно, просто дико
Жить для лжи, страдать для фальши.
Что же дальше, погляди-ка,
Что же дальше, что же дальше?

Дальше – я люблю и помню,
Жду чего-то, может, чуда?
Понимаешь, нелегко мне
Понимаешь, тяжело мне...
Очень, очень, очень худо!



* * *

Исподлобным взглядом не тревожь...
Нежностью улыбчивой не трогай.
Всё равно назад не позовешь –
Каждому из нас своя дорога.

Каждому из нас судьба своя!
Никаких авансов, встреч и писем...
Жалоб никаких на то, что я
От твоей улыбки стал зависим.

Дорогая девочка, прости!
Пусть легко, как в песенке поётся:
Если нам с тобой не по пути,
То другой, не хуже, подвернётся.

* * *

Отзвенело, улеглось, забылось...
На волне не долог пенный след.
... Может, не любилось – разлюбилось,
Может быть, любви на свете нет?

Говорят, что есть она, большая,
Только где же мне её найти?
Я, душа моя, такой не знаю,
Мне бы только время провести.

Мне бы только, говоря по сути,
Первым увлечением горя,
Дань отдать волнующей минуте,
На ночь становясь на якоря.

А наутро... Бьют на шканцах склянки,
Манит ветер в синеву морей...
Гром салюта брошенной стоянке,
Всем бортам поэзии моей.

* * *

Нет, я не выпил вас до дна,
И вы едва ли, вы едва ли
За плеском смеха и вина
Мою тоску переживали.

Она не задевала вас,
Чужой тоски чужая сила.
И в серых стаях ваших глаз
Лишь равнодушие сквозило.

Вы мной натешились вполне,
И ваша чувственная жалость
В насмешку и в обиду мне,
Как корка нищему, досталась.

* * *

Не буди уснувшей памяти,
Зарываясь в бред и сны.
Не воскреснут в снежной замяти
Очертания весны.

Где, в какой ночи угадывать
Мне дорогу суждено.
Всё, чем мог тебя порадовать,
Всё я сжёг давным-давно.

Всё пропито и просвистано,
Ни просвета впереди,
Почему же, как от выстрела,
Что-то вспыхнуло в груди?

И во сне, в тоскливой замяти
Слёзы, синь, весна и бред...
Не зови уснувшей памяти,
К ней возврата больше нет.

* * *

Убиваться по тебе не стану...
Проходи. Какая там любовь?
В тёплый омут синего тумана
Просто сердце потянулось вновь.

Просто растревожила покоем...
Не зови... Не надо... Проходи...
Горе и беду своей рукою
Не согрею на твоей груди.

Ты во мне царапина – не рана.
Заживёт... Не надо больше встреч.
Лучше капли синего тумана
В чистоте и свежести сберечь.

* * *

Новый вечер на окна ляжет,
Потемнеет и ночью станет.
Память душу в узлы завяжет,
И душа тосковать устанет.

Подари мне бесстыдство, только
Утопи в обнажённой дрожи.
Я тебя не люблю нисколько,
Как и ты меня, впрочем, тоже.

Для чего мне твои порывы
Жалкой страсти и лютой боли?
Мне свои забыть до поры бы,
До рассвета, хотя бы, что ли.



* * *

Краски серы и рыж закат,
Тридцать восемь – и лето в осень.
Глобус-пакостник так покат,
Хоть разбейся – налево сносит.

Зазывает ритмом: скорей!
Опоздаешь на праздник жатвы!
Проходи миллион дверей,
Чтоб за этими задержаться.

Только стукни – дверь нараспах,
Скрипнут петли темно и ржаво,
А на влажных твоих губах
Задержалась моя держава.

И, подкинутый до небес,
Называешь беду удачей.
Брось! За эти труды СОБЕС
Даже пенсию не назначит.

Жаль, что мир этот пьян вразнос.
Предначертанный жечься, жаться...
А в струе ядовитых кос,
Как форели легко держаться.

Обведёт голубым круги
Двух рассветов ранимо-ранних,
Сильный ветер крылом тугим
Станет форточку в лоб таранить.

А лицо – не моё лицо,
Как щетина горит наждачно,
А конец – он, в конце концов,
Ведь не самый плохой, гражданочка!

Ты стираешь полночный грим
Клоунады со щёк со злобой.
Утро дворником проскрипит
В старых валенках по сугробам.

Утро... время идёт вперёд –
Никуда от него не деться,
Нас за ручку берёт, ведёт
К деревянным лошадкам детства.

Счастье! – Новый экспромт в альбом
Записала судьба радушно.
А потом – раскалённым лбом
По булыжникам двух подушек.

Коридор размывает мгла,
Ледяные перила шатки –
Вот и выбит ты из седла
Деревянной своей лошадки.

Хруст лопаты и скрип шагов,
А бурана прицелом точным
Выбивает из низких лбов
Мусор праздничный полуночный.

* * *

Догорает сигарета.
Вспышкой высветило губы.
И знакомые предметы
Обрисовывает грубо.

На душе легко и тяжело –
Полустон, усталость, нежность...
И последняя затяжка,
И... постели белоснежность.

В ласке рук не удержишь дрожи
Задыхающейся, грубой...
С полубредом очень схожи
Звуки, сдвинувшие губы.

Лунный луч пробудит зренью,
Никель мечет блики света...
Как во сне, воображенью
Порождает силуэты.

Кто, уставши до предела,
Завтра ночью не захочет
В новый образ переделать
Бред и сказку новой ночи.

* * *

Гитарю в сердце старый звук,
Полузабытый и тревожный.
Он снова память тронул вдруг
Воспоминаньем невозможным.

Мне показалось: я опять
Бегу проулками глухими
Твои ладони целовать
И грезить ласками твоими.

* * *

Ты во сне мне никогда не снилась,
Губ твоих я не искал в бреду.
Ну зачем ты мне, скажи на милость?
Что я, кроме горечи, найду?

Я не ждал тебя, не звал, не трогал,
Не тревожил, кажется, ничем.
У меня давно своя дорога,
Ну а ты-то, ты-то мне зачем?

Может, зря я? Может, показалось...
Всякое случается в пути.
Ведь тебе нужна такая малость,
Только я не дам её, учти.

Ну, зачем мне новая забота,
Если сердце ровно, не звеня,
Слышишь, выговаривает: «Что ты,
Что ты, что ты хочешь от меня?»

* * *

Звёзды падают с неба,
Робко вечер синеет,
На сады и аллеи
Сыплет блёстки луна.

Я люблю безмятежно,
Я сложил тебе песню.
В этой песне чудесной
Лишь любовь и весна.

В этой песне плеснётся
Звонкий стих моей милой.
Новой радостной силой
Этой песне звенеть.

Про усталое солнце,
Про поникшие клёны,
Про гитарные стоны
Этой песне не петь.



* * *

С пригорочков любви пологая дорога
Нас к финишу пошлет, как пару рысаков.
Угарный огонёк угрюмого восторга
Толкается во мне, глумлив и бестолоков.

Несовременным быть в эпоху модернизма
Гнуснейшее из всех заведомых пижонств.
Но как смешон парад природного цинизма
Наивности твоей. Уж слишком обнажен.

Нам гололёд души изысканно маячит
Сквозь нервную метель предвидений пустых.
Какой уж там рысак? Отпрыгавшийся мячик,
Усилим чужим заброшенный в кусты.

И всё же не забудь, губительно целебна
Совсем не для меня любви твоей струна,
Но каждый взлёт ресниц – по венам и по нервам
Удар ножа, и кровь ветрам отворена.

МЕТЕЛЬ

Пурга встречает за парадными,
Ни в чём мы больше не вольны...
Колючей семицветной радугой
Глаза ослепшие больны.

А лица выбелены мелом и
Тяжеловесна ветра плеть.
Но что нам станут птицы белые,
Устав от непогоды, петь.

Не малой толикою радости
Две меланхолии лечу:
Учусь вдвоём ходить по радуге,
Да видно – зря, не научусь!

В пути потеряны попутчики,
За ворот прыгает со щёк
Метели, ласковым лазутчиком,
Озноба мелкий язычок.

В метели ангелы – поют они.
Поют, как плачут, черт возьми!
Но полусонное, уютное
Тепло отрезано дверьми.

Простая в общем-то механика:
Ни за щекою, ни в горсти
Тепла от твоего дыхания
И двух шагов не пронести.

* * *

Хватит ночами тем –
Не заскучаете,
Дождик слезит стекло –
В комнату просится.
Время не истекло –
Руки переплелись...
Крутится вроде бы
Черный-пречерный диск
Тихой мелодии.
А на моем плече –
Голосом сближены...
Время скользит к утру
Горными лыжами.
Сладких истом исток –
Ласковый голосок,
В лучшую из ночей,
Что загадаешь ты,
А на моем плече
Не прогадаешь ты.

* * *

А я ночами прихожу,
но непременно затемно,
Тайком в заждавшийся уют,
который так знаком.
А при прощании таком
прощают обязательно,
А снизу машет мне такси
зелёным огоньком.

А мне лица не разглядеть,
а ты глядишь с укором,
Как недвусмысленно гляжу
на циферблат часов.
Твои соседи, не спеша,
возносят коридорами
Наверх чуть слышные шаги
и шорох голосов.

А ты, как нежилая дверь,
гвоздями заколочена.
Не открывается она,
а я в твоей судьбе,
Как при дороге столбовой – обочина, обочина,
На ней не выспаться и не передохнуть тебе.

И в поцелуях не найти
забвения, забвения.
Хотя они куда пьяней,
чем старое вино.
И всё же вся твоя любовь,
не более, не менее
Затмение, затмение, затмение одно.

Сверчок не скрипнет в тишине,
не забормочет радио,

Но что-то странное, в меня
 проникшее извне,
Твердит, что эти два часа
 украдены, украдены,
А честный срок за воровство
 не заработать мне.

Ну вот и всё. Ты крепче спи.
 А сумерки захлопнуты
На этот старенький замок,
 как в мышеловке мышь.
Ну вот и всё. Ты крепче спи.
 А мне еще – под окнами,
Пока в рубашке босиком ты у окна стоишь.

* * *

Жене Свете

Между надолбами и лбами
Камней, в болотные огни
Уйду за тёплыми губами
От поучающей родни.

Дорога кинет под бахилы
Лыжню на алюминий льда.
Рассветом обморочно-хилым
Убита первая звезда.

И им чарующее чудо
Туманов, сопок и гольцов
В невоплотимые этюды
Воплощено в конце концов.

Полёт на лёд пьяняще сладок –
Поёт проточная лыжня
Про мир забот и лихорадок
Твоих, заждавшихся меня.

Морозным коробом одежда...
Позёмка крутит снежный прах.
А километры держат, держат,
Как будто гири на ногах.

Летающий берег. Хилый мостик.
Огней и теней толкотня.
Порыв отчаянья и злости
К деревне выбросит меня.

И любопытствуя радушно
В кипенье выбеленных крыш,
Сбегутся первые избушки
На поздний скрип промёрзших лыж.

Поманят радостно и горько
Посулы сонного села;
В черте задумчивого дворика
Предначертание тепла.

И сокровенным откровением
В душе займётся и сгорит
Сорокадневное волнение,
Потом забытое навзрыд.

НУ ВОТ...

Ну вот, а на окнах шторы,
Ну вот, а повсюду штормы.
Букеты из красных листьев
И лиственный твист неистов.

Откроешь глаза – отставить?
Любить и страдать заставить?
А может себе оставить
Улыбку твою и взгляды?
Закроешь глаза – ты рядом!

Как трудно дойти до сути
Вещей, когда мир двоится,
И черная шпага ртути
С утра к сорока стремится.

Ну вот, а повсюду штормы,
Ну вот, а на окнах шторы.
Задёрнешь, и в самом деле
Миры пополам поделишь.
Здесь лампа. Уединенье.
Там – лапа оледенения.
В белесой парной метели

Над миром снега летели.
По крышам гремели жестью,
Сорвавшись, ветра и бури.
С утра я не жду известий,
Болею и веки щурю
От дыма. Виски я сжимаю,
Многое понимаю,
Многое принимаю.

И между прочим, вот это
Путанное стихотворение.
Сложно? Ну что ж, у поэтов
Права на особое зрение.



ИРОНИЧНОЕ

ИРОНИЧНОЕ 1

Вы свежи и хороши,
И в глазах – огонь души.
И сказать хочу я прямо,
Что с макушки и до пят
Вы бездумны, как домкрат,
Уважаемая дама.

ИРОНИЧНОЕ 2

Вашим невниманием
Тронутый чрезмерно
Я пойду и в ванне
Утоплюсь наверно.

Многопудной похоти
Прелести невиданной
Так и не попробовать –
Это не обидно ли?
Мне рехнуться с радости
И лишиться памяти
Можно, если правда, что
Вы меня оставите.



ИРОНИЧНОЕ 3

У тебя одна забота:
Собираясь на работу
Мужа выругать с утра.
Приходя домой с работы –
Снова новые заботы:
Отругать меня пора.

Спать ложится, и от муки
Сводит судорога руки.
Поругается – проходит.
День и судороги прочь.
Я томился трое суток.
Услыхать хотел, без шуток,

Что жена моя бормочет,
Говорит во сне всю ночь.
Лёжа рядом с ней в постели
Разобрал я еле-еле:
«Негодяй, мерзавец – прочь!
Больше жить с тобой невмочь».



ДОРОГА, ДОРОГА, ДОРОГА...

* * *

Втянет в слякотную серость
Бесконечная дорога.
Перезвона оголтелость,
Шепот ветра, листьев прелость.

В сырость древних перелесков,
Как во сне, плывут и тают,
Убегают километры
В грусти, в золоте, в тумане.
Этой грустью, этим ветром
Сердце ранят, сердце ранят

* * *

Ах, жизнь моя, снова начнись,
Воскресните старые даты!
Куда ты, куда ты, очнись!
Куда ты... Куда ты, куда ты?!

Усталая ночь без конца
Холодной луною согрета.
Не верьте, не верьте сердцам,
А верьте лишь только газетам.

Одна только смерть не соврёт,
Её не толкуют превратно.
Дорога уводит вперёд,
А сердце торопит обратно.

Дорога твоя без конца
От первого вздоха до смерти...
Не верьте. Не верьте сердцам,
И клятвам не верьте, не верьте!

Но что это там впереди?
До цели осталось немного...
Колотится слово в груди –
Дорога, дорога, дорога.

Дорога твоя без конца...
Раскинувши руки и ноги,
Упал ты, но что там сердца
Толкуют – опять о дороге!

Закончится ночь без конца,
Весь свет в ней – одна сигарета...
Не верьте, не верьте сердцам,
А верьте лишь только газетам.

* * *

Я по утрам иду в свои владенья:
Два деревца – продукт озеленения,
А на снегу упорная тропинка,
Канавы, ящик и глухой забор.

А я еще во власти сновидения,
В глазах Байкал в тисках оледенения,
Где год иди – не встретишь человека,
И только рысь пригнётся, словно вор.

А я иду, иду в свои владенья.
Мелькнул прохожий, словно привиденье,
Ни на кого ни капли не похожий,
Шмыгнул прохожий, завернул, пропал.

Я на него нисколько не в обиде,
Что он меня, владыку, не увидел,
Не разглядел ни кроны, ни короны,
И сам коротким кинокадром стал.

* * *

Тяжка обязанностей гиря –
Вокзалам выдать панегирик.
Ведь провожаем мы не тещу,
Мои, вот эти, супермощи!

Я стою, телами сжатый,
Как актёр провинциальный.
В эпизоде отъезжаний
Самый главный отъезжатый.

В преисподней вестибюля
И чистилище перрона
Ноги-клёши, ноги-дубли,
Ноги груши прут в вагоны.

Тёмен будущего лик...
Уезжаешь, будто в Чили...
Мы не встали и ушли,
Нас – ушли и разлучили,
Целоваться разучили.

Новым новым ковчегом
Отгребать в иные дали.
Проводницы – печенег?
Это задник у медали.

Вокзальные аттракционы –
Голгофы касс и гул перронов.
Проснуться – горизонт багровый,
Рассветным кодом дешифрован.

Дышать светло и исцеленно...
Состав разматывает рельсы,
Как взмах разматывает лесу
Катушки безынерционной.

О, сладострастие пристрастий!
(Моё купе – моя семья).
Потёртой музой странных странствий
В окно высовываюсь я.

Вагон трясёт и лихорадит.
Беспутны рифмы и мотивы.
Хоть задавись – напротив дядя
До рвотных спазмов опротивел.

Но ночь зашторила просторы,
В небытие несутся дали.
Но фирменный! Московский! Скорый!
И – «до свиданья», пострадали.

* * *

... До последнего дыханья
Я не выпущу руля.
Пусть теряет очертанья
Под колёсами земля.

Рвы, канавы, мимо, мимо...
Газу ходу подаю.
Рвётся степь неповторимо
Прямо в молодость мою.

Нет ни встреч, ни расставаний –
Сам себе я господин...
Километры расстояний
Равнодушно жрёт бензин.

Не сверну с дороги этой...
И взамен других страстей
Я бы выдал всем поэтам
По коробке скоростей.

СТИХИ О СТИХАХ

* * *

Всю жизнь хожу
по острию меча,
Уныло, монотонно и упрямо
Истерзанное сердце волоча,
Прости, о, муза,
по помойным ямам.

* * *

Обитаю, обитаю,
Ничего не обретаю.
В рифмах таю, в ритмах таю,
Ничего не обретаю.

* * *

Скорость и ветер – моя стихия...
Коршуном, сгорбившись над рулём,
Ленту дороги кину в стихи я
В неудержимом пути своём.

* * *

Мне не уйти от ритмов мерных,
Тревожность образов ношу.
Настанет день и я, наверно,
Их уступлю карандашу.

Чтоб в звонкость песенного взлёта
Вливалось, тенями скользя,
Безумно памятное что-то,
Что вспомнить полностью нельзя.

* * *

Вселялись ласковой улыбкой
Под тень бровей, в тревогу глаз
Мои стихи. Но отблеск зыбкий
Мигнув, беспомощно угас.

А я, зловредный и колючий,
Ищу такой накал строки,
Чтоб молнией, слепой и жгучей,
Ворваться в тихие зрачки.

* * *

Отболел воображеньем,
Заразился явью.
Сорок восемь поражений
Затевают ямбы.

Строки до изнеможенья
Топают по следу.
Сорок восемь поражений!
Ни одной победы.

Отстаёт воображенье,
Тянется по следу.
Сорок восемь поражений –
Ни одной победы.



ВОЙНА

* * *

Крик трубы, скороговорка барабана...
Над могилою развёрнутый кумач.
Только рано, только рано, слишком рано
Отдружили барабанщик и трубач.

Было так: когда на нас пошла пехота,
Барабанщик сорок лет еще бы жил,
Если б руки на гашетку пулемёта
Он, бедовый, сгоряча не положил.

А трубач бы тоже выжил, как ни странно,
Не узнал бы он подобных неудач,
Если б сходу лёгким телом капитана
Не прикрыл бы разбежавшийся трубач.

Барабаны, барабаньте что есть силы,
Протрубите всё, что надо, трубачи!
Над засыпанною свежеею могилой
Вьются чёрные, как вороны, грачи.

На трубе трубач исполнил всё, что надо,
Всё, что надо, барабан отговорил.
А в сторонке молча плакал у ограды
Капитан, что музыкантов не любил.

Крик трубы, скороговорка барабана...
Над могилой то ли залпы, то ли плач...
Только рано, только рано, слишком рано
Отслужили барабанщик и трубач.



Сцена из спектакля. Слева медсестра Нинель Ивановна Янушкевич – участница битвы на Орлово-Курской дуге В центре – Виктор Кузник

МЕДСЕСТРА

*Медицинской сестре
Нинель Ивановне Янушкевич –
участнице битвы на Орловско-Курской дуге*

Я медсестра, и мне семнадцать лет,
И мне моих товарищей останки
Напоминают: «Ты на их концерт
Врывайся, Нелька, в раскалённом танке!».

Война и смерть друзей да минут вас,
И арналёт, и бомб протуберанцы...
Мой первый белый, полудетский вальс
Кружил меня с Россией в страшном танце.

Конверты похоронные –
Метёт войны метла.
«Вставай, страна огромная...»
Я встала... и пошла.

Война ломала жизни, рвала жилы.
Мой бальный танец – смерти на рога...
А в восемнадцать как меня кружила
Под Прохоровкой Курская дуга!

Война ломала кости нам
И гнула нас в дугу,
Но помнят наши гости нас
И Курскую дугу.

Не нимбом зацелованной святоши –
В объятьях херувимчиков и ввысь! –
И волосы мои, и кожа тоже
В горящем танке пламенем взялись.

А стоны умирающих от ран –
Вам век бы не играть в такие игры.
Ребята шли на «тигров» на таран
И гибли, останавливая «тигры».

Когда мой политрук из люка падал,
Сквозь грохот я услышала «Зер гут»!
Я в двух шагах видала тебя, падаль!
Орал ты во всю глотку: «Рус, капут»!

А мне сквозь жизнь нести и боль, и муку,
Накалом нервов, кровью, всей собою,
За тех, кого я, раненная в руку,
Изнемогав, не вынесла из боя.



* * *

Огни ресторанов, портовые ночи,
Они все короче, короче, короче.
И день догорает – его не хватает,
И бриз пожелтевшие листья листают.

Последняя ночь изготовится к бою,
Огни кораблей задрожат и растают,
А белые чайки над кромкой приборя
Ракетами в небо взлетают.

СМЕРТЬ КОРАБЛЯ

Каких-то жалких тридцать лет...
И без фанфар, простите, Бога ради...
На вязкий грунт успехов и побед
Ложатся корабли при всём параде.

Конечно, просчитался капитан.
Под дно подкралась подлая подлодка,
Пока по башням и чужим крестам
Сверкал я с двух краёв прямой наводкой.

Смертельно одиночество кают,
А якорям мерещатся затоны...
Чтоб сократить агонию мою,
На корабле открыты все кингстоны.

А берега, как детство, далеки...
– Эй, навались на вёсла и в сторонку!
Дружнее загребайте, моряки,
Чтоб не втянуло вас в мою воронку.

Разлука с вами, как она остра!
На карте черный крест над неудачей.
Но Вера, моя младшая сестра,
Меня из шлюпки осеняет плачем.

Подальше отплывай, любовь моя,
Подальше – берегись водоворота.
Не надо плакать – это уж не я,
А только на меня похожий кто-то.

Не брось меня, Надежда, среди волн.
Побудь со мной. Я затону, ты ночью
Бегущей по волнам скользнёшь на мол,
И даже белых ножек не замочишь.

На вязкий грунт фатально мы легли.
Вот результат – спасателей ошибка.
И мы уже давно не корабли,
А только проржавевшая обшивка.



ПЕСНИ

Жене Светлане

Виноват, кругом виноват.
Песню надо было без слов.
Ведь слова – всего лишь слова,
А любовь, так это ж любовь.

В памяти тропинку оставь,
Видишь, отмывается день.
Ветерок, листву пролистав,
Солнце покатило по воде.

Все равно – в итоге ничья,
Спорь хоть день, хоть тысячу дней.
Ледяная шпага ручья
С тёплыми губами коней.

И никто не крикнет: «Постой!»,
И не позовёт: «Погоди!».
Хвойного тумана настой
Осень переводит в дожди.

Кони оскользаются – лёд,
Кожаные сёдла скрипят,
Птицами, подбитыми в лёт,
Листья в черный омут летят.

Симульты – берёза да плёс,
Камни под водой, как глаза.
Желтою метелью берёз
Замело дороги назад.

Перечёркнут жестом одним
Милый мир на том берегу,
А на этом – гаснут огни
Раненой рябины в снегу.

Но признайся, есть ведь резон,
По тебе тоску приволочь
В точку, где по мне горизонт
Сохнет день и ночь, день и ночь.

Вот и всё, а ночи пусты,
И часов окончился бег.
Перекаты моют листы
Писем, не ушедших к тебе.

Все равно – в итоге ничья,
Спорь хоть день, хоть тысячу дней.
Я тебя зову по ночам,
Ну а ночи, ночи – длинней.



Виктор Кузник на отдыхе

* * *

Сестре Зое

Над садовой скамейкой
Лист в замедленном танце,
Пассажир незаметный,
Уезжаешь – останься!

От осеннего вальса
То ли боль, то ль усталость.
Уезжаешь? Останься!
Лишь остаться осталось.

Уезжаешь с надеждой,
А увозишь тревогу.
Нету выбора между
Пустотой и дорогой.

На холодные рельсы,
На гудящие шпалы –
Предпоследние рейсы.
Зазывают вокзалы.

Ноют старые раны,
В крыльях ломаных белых.
А дорога романы
Перепишет в новеллы.

Что роман? Ну, поплачет,
Ну, забыть не захочет.
Путешествием начат,
Чтобы стать покороче.

А на мокром асфальте
Шаг приглушен, приглушен.
Листья падают наземь,
Капли падают в лужи.

Значит, кончилось лето,
Возвращаться не надо.
Нам билеты и беды
Доставляются на дом.

А над лесом, над лесом
Белой строчкой по сини
Предпоследние рейсы
Тянет поезд гусиный.

Шпалы воздуха шатки,
А озёра, как блюдца.
Улетают десятки –
Единицы вернутся.

Мы летаем по свету,
Под крылами – болота.
Только главного нету –
Высоты у полёта.

И – на верхнюю полку...
Значит, кончилось лето.
Ты – рюкзак и двустволку...
«Дорогая, с приветом!»

И тебя укачает,
Понесёт похоронно.
Пусть никто не встречает
На пустынных перронах.

Словно горькие песни
Нам исполнят колёса,
Предпоследние рейсы,
Настоящие слёзы.

* * *

Маме

В голос обо мне голоси,
Чайки закричали: «Пора».
Берег вскинет руки осин,
Перемесят звёзды ветра.

С белой мачты траурных рей
Хлынет полотно парусов.
Парусник выходит на рейд,
Словно тихий сон.

Будут волны палубу мыть,
Солью застывать на смоле.
Долго буду видеть с кормы
Белый силуэт на скале.

Свалится с волны горизонт
И опять полезет на вал,
Все равно, на зюйд или норд
Поверну штурвал.

Ждут меня на дальней земле
Два огня над дугами скул.
За бортом летят в полумгле
Сизые торпеды акул.

Захлестнёт вода рубежи,
Мыльный вал зальёт горизонт.
И опять судьба задрожит
Стрелкою на норд.

Захлестнёт вода рубежи,
Перемесит баб и невест,
И моя судьба задрожит
Стрелкою на вест.

РОМАНС

Ах, виновато лето, только лето,
Что пополам, как яблоко, разъято
Мелодиями медленных рассветов,
Симфониями факельных закатов.

О, как тонка воспоминаний нить!
Пожар сменяет лёгкая прохлада,
Когда вы дарите, но некому дарить,
Не надо говорить, не надо говорить,
О чувствах говорить не надо.

Я забываю днём, как мы горели.
Страдание – всех чувств первооснова.
Мучительно стремление аллеи.
Свести нас на прощанье полвосьмого.

Мне нежных чувств в жару не поверять
И не грустить под шорох звездопада.
Вы уверяете. Но не в чем уверять!
Не надо повторять, не надо повторять,
Ошибок повторять не надо.

А вечер наполняет нас собою,
Последней наполняющей страницей.
Тому, что нам подарено судьбою,
Мы не сумели истово молиться.

Меня ничьим крылам не осенить,
Неодолима мощная преграда.
Зачем вы любите? Ведь некого любить.
Не надо говорить, не надо говорить,
О прошлом говорить не надо.

А виновато лето, только лето,
Что чувства разноречием объята.
О, как они медлительны, рассветы,
И как они стремительны, закаты...

Зачем бездумно фразам доверять,
Молчание – вот высшая награда.
Вы укоряете, но не в чем укорять.
Не надо ускорять, не надо ускорять,
Разрыва ускорять не надо.

* * *

А на сиденье охапкой астры,
Кружение клёнов, мельканье лип.
И лист осенний не напрасно
На ветровом стекле налип.

Плащишко в каплях, и с неба каплет,
Капрон и туфельки в грязи...
Баллоном рваным твой голос ахнет:
«В любую сторону вези».

А мне с отпетой твоей любовью,
Как с этой осенью, по пути.
А лист, набухший осенней кровью,
На фары медленно летит.

А на сиденье охапкой астры,
А я, как мальчик, снова влип.
И не напрасно, нет, не напрасно
Кружение клёнов, мельканье лип.

* * *

Ах, под крыльями зелёными
Тяжело мне, тяжело.
Речку красками калёными
На закате обожгло.

Может, ветер пахнет грозами,
Да только грозы вдалеке...
Под раздвоенной берёзою
Нелегко мне налегке.

Стеариновой свечечкой –
Вспышки зелени не в счёт –
На ветру берёзка мечется,
В синеву перетечёт.

А эта синяя изменница –
Перелётная стезя –
Лебединым пухом вспенится,
И – прости-прощай, земля!

Нам, поэтам, предназначены
Не семья и не стихи.
Мы идём к берёзкам праздничным,
Как к невестам женихи.

А на асфальтах что-то душит нас,
То ли фальшь, то ли слова,
А на воле насквозь души нам
Прожигает синева.

И отпетые, прожжённые,
Память прошлого не в счёт,
То ли годы, то ли лето нам
Сединой башку сечёт.

Ах, отпетая, прожженная
Перелётная стезя.
Только годы злыми женами
Кулаками вслед грозят.

* * *

Ни ответа, ни привета,
Ни звонка... И ждёшь ты зря.
Заплуталось моё лето
На тропинках сентября.

Чёрт-те что творится в небе,
В кабаках сплошной озон.
Телефон звонит в квартире –
Не трезвонь, какой резон.

За какую-то неделю
Облетел зелёный вяз.
В этой лиственной метели
Ты увязла, я увяз.

А на небе без просвета...
Всё туманы и дожди.
Повторяют: «Бабье лето,
Бабье лето впереди».



ПЕСНЯ НЕУДАЧНИКОВ

Неумелые наши руки
Поворачивали штурвалы.
Мы вставали спиной к разлуке,
Пена к берегу уплывала.

И туманы висли на мачтах,
Снасти парусников скрипели,
«Неудачников ждут удачи!» –
Паруса, наполняясь, пели.

Перед рельсами пересуды,
От удачливых нет отбоя.
Развернётся не лихо судно
И уйдёт от каймы прибоя.

Счастью тоже нужно участие,
Ведь родиться счастливым мало,
С неудачниками несчастье
Счастью хрупкий хребет ломало.

Песня ветра была обманом,
На неверной морской дороге
Завершали шторма романы
И дописывали эпилоги.

Если будущее в тумане,
То дорога к нему заветней.
И, как принято в океане,
Капитан уходил последним.

Неудачников били штормы,
Неудачников ждали рифы.
Неудачники, братья, что вы,
Не губите с собой счастливых!

Море жизнь берёт без отдачи,
Шторм ханжой по утопшим плачет.
Даже тем, кто во всём удачлив,
С неудачниками – неудачи.

ТУРИСТСКАЯ ПЕСНЯ

Здесь подъёмы на сопки круты,
Взвесь стенки и жми не очень.
Не сойдёшь отдохнуть с маршрута –
Ведь тропинки здесь без обочин.

Нас за шиворот вынет лето
И десантом в тайгу, в чащобы
От постылого кабинета,
От работы и от учёбы.

От неоновой мертвечины,
От бензиновой гари улиц,
Независимые мужчины,
Мы на трассе лесов проснулись.

Горизонт наш, что делать, сужен,
И запросы, увы, не очень,
Но в походных котлах на ужин
Лето варится, между прочим.

Нам походы охотно стелят
Лапы елей в палатках жестких,
Светофоры берёз и стеблей
Нас не держат на перекрёстках.

Нам кукушки приносят вести,
Плачут совы над нами ночью.
И поём мы вот эту песню,
Ведь запросы у нас не очень.

И на черта тебе зарплата...
На путях кабанов и лосей
Мы рюкзак, как больного брата,
На плечах из тайги выносим.

Потому-то мы и отпеты,
Как пропащие без возврата
И мелодиями рассветов,
И симфониями закатов.

И сочувствовать нам не нужно,
Что сочувствие ваше, если
Остаётся мужская дружба
И не звонкие наши песни.

Если вновь, рассчитав минуты,
Одержимыми, рвёмся в марте
Новых трудных дорог маршруты
Проложить на трёхверстной карте.

Ну, кому же мы интересны
Неуклюжи, мрачны и немы.
Остаются неспетыми песни,
Недописанными поэмы.

Потому-то мы и отпеты,
Как пропащие без возврата
И мелодиями рассветов,
И симфониями закатов.



ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ

Людмиле З.

Снова ветер в февральской мгле выюжит,
Вьюга в белых полях по земле кружит.
Ветер позёмку, шаля, несёт лыжней
И убегает за поворот ближний.

Снегом сыпучим к тебе пути лижет
Может, помогут тебя найти лыжи?
Может, ты будешь немного мне рада,
Большого мне, ведь ты знаешь, не надо.

НА СМЕРТЬ ГЕОЛОГА

АЛЕКСАНДРА ПОГРЕБИЦКОГО

А. Городницкому

Только месяц до зимы,
Сутки до отплытия,
А над похмельной головой
Пьяные дожди.
Ну на что тебе, скажи,
Бывшие события?
Письма кончились мои,
Писем ты не жди.

Ни за что не просушить
Мокрую одежду.
И вырвет горная вода
Рукоять весла...
Ты не жди, не выбегай
На звонки с надеждою,
Всё по старым адресам
Почта разнесла.

А полбанки за тебя –
В этом что же нового,
Под мелодию дождя
И возню собак,
Вот на теле у меня
Только и сухого-то
Фотография твоя,
Спички да табак.

Я б, конечно, написал,
Да писать-то не о чем.
По дырявым сапогам
Ржавая вода.
Ты прости, что в твой уют
Постучится вечером
В старой сумке на ремне
Новая беда.

Узкоглазый проводник
В пьяненькой протрации
Доберется как-нибудь
До обжитых юрт.
Будет попусту крутить
Старенькую рацию.
Позывные обо мне
Что-нибудь споют.

Только месяц до зимы,
Сутки до отплытия –
Письма кончились мои,
Писем ты не жди.
Я б, конечно, написал,
Да что здесь за события –
Всё над пасмурной тайгой
Пьяные дожди.

* * *

Жене Светлане

Приклада ржавого цевьё –
какая осень! – света слепок.
О, одиночество моё,
плесни надежды напоследок.
Мигни мне лучиком любви
над лесом, летом опаленным,
Я ухожу меж желтых кленов, –
ты оставайся, ты живи.

Кони лета невпопад,
что поделать, нас домчали,
А последний листопад
укачает все печали.
Этих желтый листопад,
этот красный листопад
этот бурый листопад укачает!

Пока я жив, пойдем искать
воды пронзительный транзит.
Живое чудо родника
нас острой свежестью пронзит.
Ладоншкой воду зачерпни,
она меж пальчиков прольется,
И эхо слабо отзовется:
«Ты оставайся, ты живи!»

Побежишь остановить
лист, кружащий на поляне,
Я кричу листве: «Крутись!»
Я ору дождям: «Валяйте!»
Я и сам вкружиться рад
В этот желтый листопад,
в этот бурый листопад
На поляне.

ПЕСНЯ О ЛЕБЕДИНОЙ ПЕСНЕ

Ночами шепчут камыши:
– О чем они? О чем они? –
Лети да крыльями маши
Парчевыми, точеными!

Ах, лебединое перо!
Постой, узнаешь вскорости,
Что злоба – плата за добро;
За радость плата – горести!

Живи, да песенкой дыши!
Форси пером-обновочкой!
Но кто там вкрался в камыши
С «винтом» наизготовочку?

Чей палец скрючен у курка?
(Не люди это – нелюди!).
Лети на выстрел из скрадка
Последней белой лебедью.

И лапы воду изомнут,
Погонят ноздри нервные
Собачьей пастью давануть
За песенку химерную!

Ах, крылья белого пера,
Кипенные да нежные,
Не опирайтесь на ветра –
Все ветры безнадежные!

Ах, лебединое перо!
Полеты беспечальные...
Свинцом кровавое тавро
На песне пропечатано.

А жизнь красна, да коротка,
(Хоть плачь!) у всех единая.
Одна цена – щелчок курка
За песни лебединые!

В тумане утреннем – ни зги!
Весны разноголосица...
А по воде круги, круги
Кровавые расходятся.



ПЕРВЫЙ СНЕГ

Заблудится вечер и, вылизав стены,
По гладким стволам и колючкам акаций
Потянется вверх, чтобы чёрной антенной,
Летучею мышью на город сорваться.

А ночь холодком протекает за ворот,
А крылья тяжёлые машут и машут,
Как будто бы тихо баюкают город,
От шума оглохший, от дыма уставший.

А первый снег фильтруют фонари,
А фары шарят в каменных воротах.
Еще одну успею докурить
До поворота, до поворота.

Заблудится вечер в бездонных колодцах,
Дворов, обворованных ветром осенним,
И жёлтая плесень фрамуг ухмыльнётся
Последним приютом, печальным спасеньем.

И я во дворе задержусь на минуту
Зачем-то глядеть на зажжённые шторы,
На берег чужой тишины и уюта
У длинной и чёрной реки коридора.

А первый снег фильтрует фонари,
Распахнуты – не заперты ворота.
Хотя бы раз с тобой поговорить
До поворота, до поворота.

И, сбросив устало дремучую груду
Раздумий, сомнений, минуток разменных,
Я тихо скажу: «Я совсем, я оттуда,
Я прошлое продал, я прежнее предал».

Навеки застынет в глазах пантомимой
Движение встречи на выход из транс.
Конечно, найдётся: «Родной мой, любимый:
Останься со мною, останься, останься!»

Качаются деревья и столбы,
Печалются. Им улететь охота.
Ах, если б всё на свете позабыть
До поворота, до поворота.

АЛТАЙСКИЕ МОТИВЫ

Сестре Зое

АВГУСТ

Хотелось голосом беды,
Серебряным по сини – чайкой –
Над равнодушием воды
На перехват кричать отчаянно.

Но прёт сквозь август, не таясь,
Природы сущность вековая,
Невнятным голоском ручья
О чём меня увещевая?!

... Забуду я твоё лицо –
Мой бред ночной, и не закаюсь,
Твой облик золотой пыльцой
Горячих трав засыплет август.

* * *

Весь в полыни, мяте, повилике,
По примятым тропам днём и ночью
Бродит Август миллионноликий –
Я один из ликов полномочных.

Мы друг другу нипочем не в тягость.
Мы одни в медлительных рассветах:
Я, убийца прошлого, и август –
Золотой самоубийца лета.

И в траве некошеной по пояс,
Заплетаюсь в дождевые нити,
Отйду, душою успокоюсь,
После хоть собаками травите!

Позабуду боли, беды, кроме
Той, что в осень накрывает лето.
Август – мой дымок на переломе
Двух стволов горячих от дуплетов.

Отойду тихонечко в сторонку.
Закурю, как молодой повеса.
Ветер с корнем вырвет похоронку –
Мёртвый лист из шевелюры леса.

Синева перетекает в траур,
Сдохли беды, кончились печали...
Хохоча по накрённным травам,
Хлещет август мокрыми бичами.

Умоляю – миг ещё хотя бы,
Но заката огненное дуло
Объявляет: «Кончено. Сентябрь».
Вот и всё. И нет нас. Словно сдуло.

ДОЖДЬ В АВГУСТЕ

В мире нет печальнее мотива,
В мире нет печальнее тоски.
Сер рассвет. И утро торопливо
День приподнимает на носки.

Он ползёт, выматывая жилы,
Месит грязь, клаксонами гудя.
Как они тоскливы затяжные
Мёртвые сентенции дождя.

Ах, не до удач, не до успехов.
Всех надежд разогнаны послы.
Подносились острые доспехи,
Выпирают острые мослы.

Надо бы поменьше ошибаться –
И не в половину, хоть на треть.
Так мослами больно ушибаться,
Ведь углы час от часу острей.

Ушибаюсь, в доску разбиваюсь,
Вырубаюсь, падаю без чувств.
Зашибаю, крепко зашибаю,
По ночам в бессоннице верчусь.

Я не так еще, наверно б, запил,
Да с похмелья больно тяжело.
Травматичен оголтелых капель
Нервный стук о потное стекло.

Нет во мне решимости, нет страха.
Мост куда попало наведён.
День ползёт унылой черепахой,
Губкой распухая под дождём.

Всех свобод дешевые устои...
(Ах, куда б подальше их послать!)
Только не спасай меня, не стоит,
Просто больше некого спасать!

Всё заносит дождевой порошей...
Вечер, ночь на город наводя,
Ухмыльнётся рожей скоморошьей
Обложного летнего дождя.

В мире нет печальнее мотива,
Не сыскать тоскливее тоски,
Новый день на окна прихотливо
Бросит воспалённые мазки.



На конной прогулке

ПОЗЁМКА

Белы сугробы, путь натопан.
Снегов раздолбанные зёрна
Проносит по голеностопным
Суставам сизая позёмка.

Вползая в ямы и в траншеи,
Шумит и дышит заполошно.
Мотает, как кашне на шее,
На чьи-то щиколотки клёши.

И жмётся сумрак купоросный
В рывках нервически коротких.
Позёмка бритвой у торосов
Снимает пену с подбородков.

Гудит разлад разноголосый,
Входя в сплетенье голых сучьев,
И тяжкой чушкой мороза,
Гвоздит, как сваю, столбик ртути.

Как сыплет тьма слепую осыпь!
Гудит позёмка, звоны гасит.
Из переулков пылесосы
Сосут компрессором гигантским.

И жизнь, и искры мимо, мимо
Текут под песенку дурную.
И хочется неизъяснимо
В избушку чадную, курную.

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ

Вот и всё! Уронишь руки.
Повернёшься уходя...
На асфальте перестуки
Босоножек и дождя.

Быть мужчинами должны мы –
Надо молча уходить
В затыжные, обложные,
Автострадные дожди.

Чьи глаза буравят спину,
А твои – передо мной.
Что найду и что покину –
Еду к прошлому спиной.

Справа горы, слева горы,
Деревянные мостки.
Запылённые шоферы –
На баранках кулаки.

Автостранного изданья
Супервыпуск: «Трын-трава».
Автострадные страданья,
Автострашные слова.

Ну, крути свою баранку –
Не дотянем до леска.
Но зато затянет ранку
Возле левого соска.

Скорость нимбом, ореолом,
Только ёлка притаит
Мотоцикл, как гондолу,
С гондольером из ГАИ.

Ах, инспектор, ты, инспектор,
Не маши своим жезлом –
Доброта твоя, инспектор,
Обернуться может злом.

Пересмехи жизни, смерти,
Ты такого не знавал?
Нас соломинками вертит
Твой законный интервал.

Интервалом нас ломала
И карала тьма веков.
Соблюденье интервала
Как парады дураков.

Всё бесцветней жизни спектр.
Люди стали, что дрова.
А на смерть мою, инспектор,
Не тебе забрать права.

Это век баранку вертит,
Сотня с лишним эталон.
Не инспектором, а смертью
Пробивается талон.

Бензовоз на пятитонку –
Так сплелись – и вместе вниз...
Двух бессмысленностей гонка
Обрела кровавый смысл.

На дороге два затора –
Молча шапки сняли мы...
Жали до Улан-Батора,
Выжили до Усть-Симы.

Гулевая, путевая
Блажь, что сроду не знавал.
Жмёт машина, завывая,
На Семинский перевал.

Снеговые справа шапки.
Автоклассно вмазать в МАЗ?
Встречный ас – алкаш в ушанке.
Помереть – последний шанс.

Но баранку крутят руки.
Он сигналист, обходя...
Переклики, перестуки
Двух моторов и дождя.

МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЁРА

* * *

По нервам, по зрачкам – Мультинские...
Не просыпаться!... Это сказка!
Я потрясённо зубы стискивал
На спуске скользком и опасном.

Здесь синей вечности пророчеством,
Наглядной антитезой веку,
Так нестерпимо одиночество,
Что лошадь жмётся к человеку.

Костёр старается над чайником.
На гальке – развалюха лодка...
И страшно зашуметь нечаянно –
Здесь тишина такая ломкая.

А ночь над буреломным логовом
В «Шумах» водой кипит и бесится
Над чернотой камней, изломанных
Кривой ухмылкой полумесяца.

Мне вспоминать и зубы стискивать,
И грезить синим побережьем...
Три голубых огня – Мультинские, –
Маралий гон и след медвежий.

Когда от боли и бездомности
Сдыхал я, нервам потакая,
Меня спасали три бездонности,
Три синих донора Алтая.

* * *

В пригоршнях, полных алых ягод,
Осадок летнего тепла.
Плывёт оранжевый сентябрь,
Подняв закатных два крыла.

Мульты озёрные манежи
Красным-красны – закат царит.
И тонким лучиком надежды
Всё в грудь ударить норовит.

Трепещет, кверху истощаясь,
В тенетах желтого плюща,
То свет и нежность источает
Осины слабая свеча.

И с ней надорванно и нежно
Я, как сентябрь во хмелю,
Свои светлейшие надежды
С Мультой навеки разделю.

Зачем нам памятные даты?
Ушедших лет не превозмочь...
Ведь эти красные закаты
Сотрёт чернильной губкой ночь.

Ну, помяни за то, хотя бы
Что никому не делал зла.
Плывёт оранжевый сентябрь,
За ним закатных два крыла.

Потом придут часы стараний
Забуться, думы превозмочь.
Но скрип сосны и вскрик маралий
В ладонях черных держит ночь.

ГИМН МУЛЬТЕ

Ну что, что может быть, скажи,
Усталых прихотей нелепей:
Упасть в цветные миражи
Твоих блажных великолепий!

Найду воды гремучий свал.
В сияньи радуги и в пене
Мелькнёт замедленным мгновеньем
Сметенный голубой овал.

Я в глубине распознаю
Двух девочек хвостато-матовых.
Не их ли пальчиком разматывать
Забвенья моего струю?

Чудак, по городам искать,
В какие рухнуть преисподние...
Смотри, как грациозно подняли
Кедрята лапы – не пускать!

Изверившийся до конца,
Круговоротом лжи заверченный,
Пихты метёлочка, доверчиво
Следы морщин сведи с лица.

Прижмусь к нагретому стволу,
Щекой приму шершавость дерева.
Пойму: ещё не всё потеряно,
Пойму, что я ещё живу!

Во мхи, в брусничник, на коленях,
В смятенье бликов и теней,
Скажи, что может быть нежней
Твоих ко мне благоволений?

Береговой аквамарин
Сосёт тоску таёжной пустоши,
И сопка медвежонком плюшевым
Придёт погреться у зари.

Изранят горные снега
Заката крылья размозженные.
Под парусами напряжёнными
Плывёт по озеру тайга.

Гулёной праздной будь, и праздничной,
Зарёю горы одевай.
Будь расточительной, растрчивай
Себя, но не оскудевай.

И если жизнь наперекос,
Пусть не нелёгкая выносит.
Тайга, Мульга, озёра, осень...
Надолго ли? Вот в чём вопрос.

ДВЕ ФОТОГРАФИИ

1. Черно-белая

Светало. Горизонт был мутно сиз.
Вода лагуны отливала.
И валуны посматривали вниз,
Как голуби, обсевшие карниз,
Нахохлившись, сидели – не взлетали.

2. Цветная

Не блекнет синева на осветлённых линзах,
И облачные льды плывут по синеве...
Оранжевый трубач, расхристан и неистов,
Вечернюю зарю рыдает на трубе.

Шестёркою червей в осенние пасьянсы
Улёгся бы и я, Мульткой заморожён,
Отмытый добела от муки постоянства,
Спалённый дочерна закатным миражом!

ДИАЛОГ

Семь лебедей (о, Боже мой!)
Плывут на юг семь белых светов...
И я сказал: «Прощайся с летом!»
А он своё: «Домой! Домой!»

Совсем не то он говорит,
Совсем меня не понимает.
Икает, водку наливает:
«Дуришь, старик! Мудришь, старик!»

– Старик! Со страшной силой сжат
В патроне дня закатный порох,
Приговорённые озёра
По сентябрю плывут в закат!

Готов последний реквизит,
И ничего не переделать...
Смотри, как в роще поределой
Предзимье мертвенно сквозит...

А он своё: несёт Мультку
И неудачную охоту.
Он говорит: «Домой охота!»
Он говорит: «Невмоготу!»

А я: «Приклад примял песок,
Как палец клавиш фортепьянный...
О, полоняночка-поляна,
Лесной, поющий голосок!

Смотри, как нежится земля!
Но увяданья слабый запах...
Бикфордов шнур ручья на запад
Ползёт к закатным капсулям.

И нам нельзя не поглядеть,
Как занесёт цветные пятна,
Уменьшенным и многократно
Телами белых лебедей.

А он смеётся, паразит!
Он говорит: «Ты бредишь, кореш!
Ты просто пьян. Ну что ты порешь?
Такая тишина стоит!»

А я уже на грани слёз:
«Но лебеди роняют перья!
Но этот лес! Но этот плёс!...»
«Старик, мне жаль тебя, поверь мне!

Стволы черёмух повело
По облакам лебяжьей стати.
Всадить картечной ипостаси
Заряд под левое крыло!»

«Но след горящего пыжа,
Но порошинок пыль сгустится,
Закружат белые убийцы,
Зарежут лето без ножа!»

А он смеётся. Он острит,
Он ничего не понимает.
Он водкой угли поливает
И говорит: «Дошел старик!

Куда там Григу! Что там Лем!
Потеха – эти мне поэты!»
Но семь пленительных поэм
На юг, на юг плывут, как лето.

ЗАКЛИНАНИЕ

Опять Мульта... Опять Мультигинские...
Но в синь возносит высота
Над затемнёнными глубинами,
В маршруты почты голубиной
Оранжевый конверт – записку,
Вираз осеннего листа.

Мульта, не оттолкни скитальца!
Из бездуховности верни!
Всади в заплечные ремни!
Саднящей ссадиной рябинной,
Биноклем, ржавым карабином,
И леской, рвущейся из пальцев,
Мой непокой обремени.

Обремени себя собою!
Осенний день – излётным зноем!
Добром пришельца помяни!
Идти под снег повремени.
Прими осеннюю путину
Плывущей лесом паутины.
Зрачкам озёра распахни!
Обремени орехом кедры,
Покою – ночь, а песню ветра
Мелодией обремени.

Да будет бремя это лёгким!
Да будет стаям перелётным
Стезя миграции мягка.
Да будут, да не выцветают
В трёхвёрстке Горного Алтая
Три синих нежности, три тайны,
Три вечности, три василька.

Да будут снеговые горы
Стеречь Мультигинские озёра,
Горам попавшие в силки.
Да будут сонмы сонных сосен...
Ко мне да будет эта осень
Мягка, как мхи твои мягки!

Зажжёт росинку в паутине
Осколок солнца. И туга
Лагуны синяя дуга...
А раскалённая махина
Скользнёт за кедры кряжевые...
И сердца раны ножевые
Затянет. Так придонной тиной
Затянет след от сапога...
Привет, Мультигинская тайга!

Но осень щиплет ощутимо
Лесов осенние массивы,
Берёзы рыжий перманент.
Влачатся облачные льдины,
Как будто в клюве лебедином
Горит оранжевый конверт.

ДЕНЬ

Зажмёт росу в кедровой лапке
Ранимо-ранняя заря...
А лист на полотне палатки
Как туз червонный сентября.

Во глубине зеркал раскосых
Пейзаж дробится пополам...
Плывут берёзовые косы
По миражам, по зеркалам...

Но соло, соло, только соло
Ведут цветные миражи!
И голосок зари не сорван,
И декорации свежи.

Калейдоскоп цветных билетов
На тропах пёстрых распростёрт...
Идёт спектакль «Бабье лето»,
Сентябрь – главный режиссёр.

Я сам сентябрь. Я на попоне
Валяюсь пьяный в лоскуты.
Трещит костёр. Поодаль кони
Жуют алтайские цветы.

Как будто вновь в зените лето...
На целом свете ни души!
Мульты подсиненная лента
Шурша, катает голыши.

Ликует лес. Его экраны
На самой праздничной волне!
И голосок пичуги странной
Поет мне песню обо мне.

Бредёт по берегу, не прячься,
Зверушка с рыбиной во рту...
Моя шагреновая кляча
Жуёт осеннюю Мульту.

А я, как пьяница у стойки!..
Но из листвы, опавшей зря,
Мульте настаивать настойки
На желтом солнце сентября.

ЗАЧЕМ?

Когда гусей последних стая
Оставит север позади,
А лес примолкнет и устанет
Глотать последние дожди.

Ветра шалят и знают, скоро
Ударят снежные шторма,
Наступит день – постигнет горы
Скоропостижная зима.

Когда листва рванётся в твисте
Услать осенний водоём,
Тайга горит, но пламя листьев
Зачем тускнеет с каждым днём?

Зачем ветров тугие волны
Идут Мульгой листву глотать?
Зачем, тоской переполняясь,
Горит осенняя вода?

Зачем нам время и пространство,
Любви престранные дары?
Зачем мы так к друзьям пристрастны
И поздней мудростью мудры?

Чьему усталому сердечку
И день постыл, и ночь пуста?
Ответь, расплавленная вечность,
Непостижимая Мульга!

Она твердит: «Затем, хотя бы,
Чтоб просто прошлое забыть,
Отбросив просто, как сентябрь,
Вопрос: «Казаться или быть?»»

Осин осенние косынки,
Не подсинить водой закат.
Наносит ветер – рябь по цинку...
Мульта – стиральная доска...

ПРОЩАНИЕ С МУЛЬТОЙ

(Лирический вариант)

Прости, прощай, моя Мультя,
Моя оранжевая, ржавая!
Судьбы моей стопа державная!
Прощайте, сопки, омута!

Спасала спасом на крови,
Звала луной, ветрами, звёздами,
Звала ручьём, звала берёзами,
Теперь дождями позови!



Мульта

Царицей осени цари,
Настойки пьяные настаивай,
В ночных туманах не истаивай,
В лесных пожарах не гори.

И что там впереди? – Гуди
Отравой пьяною, шалавою!
Берёзкам рученьки заламывай!
Октябрь на сцену выводи!

И в сопредельности вершин
С ветрами яростно мажорными
На души, веком обожжённые,
Кедровым веером маши.

Палатка старая снята,
Предзимье истово ленивое...
И наши судьбы половинные
Совсем разорваны, Мульта!

Рябинной кистью помаши,
Лесной перчаточкою лаковой.
Зрачки туманом заволакивай.
Гостей спроваживать спеши.

Целуй же грешные уста,
Пока снега семью печатями
Тропы к тебе не запечатали,
Печальная моя Мульта!

ПРОЩАНИЕ С МУЛЬТОЙ

(Вариант озлобления)

Скажите, а вы обо мне не тужили,
Наивные стёклышки вечности лживой?
У нас не совпали ни судьбы, ни гены...
Уж не обессудьте, мои старожилы,
Вы, кедры – мультинские аборигены,
Ты – синее пойло безгрешности лживой!

Довольно! Мы сыты и Богом, и чертом,
(Мульты богомольцы? Да нет – постояльцы).
Я синей стекляшкой вспорол бы аорту,
Да жаль, что стекляшки сочатся сквозь пальцы!

Неостановимо скольжение стрелок...
Вы, кедры мультинские, просто забудьте
Тяжелым орехом, кружением белок,
Что, как автогеном, разрезаны судьбы.

Остаться? Я сам отвечаю: «Нелепость!».
Свобода? – Но звёзд проступает конвой.
Раскосая Азия нож-полумесяц
Качает у горлышка песни живой.

Мелодия ветра в органном хорале,
Зелёного кедра собор кафедральный,
О чем умолчали, о чем вы орали,
Не отягощаясь минутой прощальной?
Но время поставить последнюю точку,
И мне в белоствольный мираж не вписаться.
Всем золотом леса не купишь отсрочки –
Не будет спасений порук и кассаций.

За все миражи наступает расплата
Бензина и кухонь, воняющих щами...

Четыре берёзы. Четыре халата.
Нежнейший консилиум, но беспощадный.

Почти в нереальных цветах и нарядах
Алтайский ковёр увядает, вступая
В церемониал погребальных обрядов,
Предтечей снегов белизны горностая.

ОТЪЕЗД

Оплатит сентябрь золотым чистоганом
Невзрачность опят и прозрачность поганок,
Пройдётся по солнечным склонам, осыпав
Брусничный салон воспалённою сыпью.

Уходим тропой буреломной, Мультинской.
– Уходят! – бельчонок оранжевый пискнет.
– Уходят! – займётся по лесу. – Уходят!
Ветвями берёзы держите поводья!

Но слабая хватка Мульты – не помеха.
– Уходят! – слабеет мультинское эхо.
– Уходят! – осинники светом исходят.
– Уходят! Уходят! Представьте, уходят!

Колючей манишкой синь искарябав,
Кедровыми шишками машет сентябрь,
Уходит, за красную ветку издёргав
Рябинные кисти в подойник озёрный.

Ветрам не подвластны таёжные склоны...
Глодают листья золотые дублоны.
И хочется крикнуть тайге: «Помаши нам
Озёрным платком – голубым крепдешинном».

ПОРТРЕТЫ

ФРАНСУА ВИНЬОН

Запах смерти туп и одуряющ...
Мокрого тумана простыня...
Всем собою удостоверяю:
– Я живой, взгляните на меня.

Только это всё мираж, каналы
Умерших надежд, совок золы...
Как меня крутило и ломало
Головой об острые углы!

В чаде кухонь, в запахе пелёнок,
Был я мал, а мир вставал и звал
В красках только красных и зелёных,
Я других тогда не признавал.

А Париж – подмостки для трагедий!
Шкодник, выпивоха и храбрец –
Я зелёным пел, а красным бредил,
И они смешались под конец.

Странные бывают мезальянсы,
Подшутить сумел единый Бог –
Д'Эстурвилли вышли в Д'Артаньяны,
Я ж – в Аполлинеры и Рембо.

Что ж до мнений их и до оценок –
Я спешил к вершинам мастерства...
Страшные бывают мизансцены –
Зелен мир, а кровь – красным-красна.

А пласты минувшего слежались,
Их не отпихнуть и не избыть.

Грабежи чреваты платежами –
Песнями недели не прожить.

Парень я сноровистый и тёртый,
Ну а все же, – как бы ты ни стих...
Воровская хватка держит мёртво –
Никуда не смоешься от них.

Только юность не ждала сигнала,
И куда она меня несла? –
Просто солнце Сену заливало,
Просто капли падали с весла...

Где же ты – изысканная дева?
Тонкий профиль у резных перил.
Я, любить рождённый королеву,
Нищенок измызганных любил.

Если я скрываться перестану,
То меня возьмут в конце концов
Негодяи в траурных сутанах
С ликами пророков и жрецов.

Жизнь моя – подброшенный полтинник,
Щерится Париж – о'ревуар!
И качают волны бригантину,
В трюме дрыхнет мэтр Франсуа.

Свежий я и весь ещё не выжат,
Не засох – ещё во мне, со мной
Гибкий зверь с единой целью – выжить,
Уцелеть, уйти любой ценой.

Но моталась шатко или валко
Слава обо мне за мной. И вот,
Старый, обесцеленный и жалкий,
Я взошел на шаткий эшафот.

Был я сутенёром, был пиратом,
Был бродягой, чтоб потом с трибун
Завершеньем яростных дебатов
Разнеслось торжественное – бунт!

Странные, волнующие фразы,
Мне во всём и слава и почет.
Может, я французский Стенька Разин,
Или провансальский Пугачев?

Наведите режущие блицы,
К черту полутьму и полусвет!
Вот я, божьей милостью убийца!
Вот я, божьей милостью поэт!

Ничего не остаётся мёртвым...
И по мне века (само собой!)
Шаркают подошвою истёртой
Сапогом, ботфортом и сабо.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Здравствуй! Я – старый «убийца»,
Флинт мой без промаха бьёт.
Падают серые птицы,
Крылья ломая об лёд.

Всё это – так ли, иначе –
Кончится «службой добра».
Жаль вот, что только что начал,
А закругляться пора.

Только шагнёшь от порога,
Не оглянувшись, а жаль...
Жаль, что на летних дорогах
Пляшет бездомный февраль.

Странные южные ночи...
Кто-то простонет во сне,
Сном разогретый комочек,
Нежно прижмётся ко мне.

Может быть, ты мне приснилась!?
Пьян я. Да-да, ты права...
Только б не кончилась, длилась
Поздняя эта глава.

Скажешь, вздохнув: «Мы без веса!
Не улети, хохоча,
Мой престарелый повеса
В хаки с чужого плеча!»

Скажут: «Он пожил, да дожил
Не до глубоких седин...»
То, что я должен – я должен
Сделать, оставшись один.

Кончено, старые нарты,
Вырви, упряжка, на склон.
Синим, как лезвие, мартом
Располоснуть небосклон.

Выедет март на дорогу
Сизых от таянья льдин.
Что ж ты долбаешь тревогу,
Шалый мой дятлыш в груди?

Кто нас с тобою осудит?
Пренебрежем мелюзгой!
Что же с любимую будет?
Будет... но кто-то другой.

Я не кричу, не пугаю.
Слышишь, мой голос затих.

Это не ты, а другая –
Стонешь в объятьях других.

Всё это так ли, иначе
Кончится службой добра.
Что же ты, глупая, плачешь?
Ночь на исходе, пора.

Кинь, старина, на пороге
Взгляд на последний причал...
А в эпилоге тревоги...
И ни конца, ни начал.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Наброски и комментарии к выступлению

В. Высоцкого в кинопанораме

Тяжелый, спёртый мрак опять
Тобой посмертно удостоен...
По мне (по мёртвому) стрелять,
И догонять, и добивать
На срыве песней ножевою.

И вот не жить, не сдохнуть до конца,
Никто вопрос не ставит: или, или...
Но горлом кровь хлестнула у певца,
Мне лёгкие залила асфиксией.

А я от ста болезней не у дел,
Ты на стене моей в латунной раме,
Но чёрный от удушья я сидел.
Володя, что ты сделал, как посмел,
Чужой и чуждой волею запел

Увы, с экрана, в кинопанораме!
Я вспомнил избиенье, а не драку.
Другой экран и, дескать, пой, изволь!
И свору густопсовую во фраках,
Рванувших рвать, и только ли его ль?

Не в первый раз на нашей на планете
Поэт бунтует. Как же он посмел?
И сапоги, взлетая, били ветер,
А ветер только пел и только пел.

А ветер пел: «Спасите наши души!»,
А ветер пел с улыбкой на губах,
А ветер пел, с голов сдувая уши
И мертвецов ворочая в гробах.

Нам ветер пел, а если ветер начал,
То в пыль и брызги мелочь о причал,
Традиций выкорчёвывая мачты,
Нам ветер пел, бесился и крепчал.

Всё отошло – таможня, водка, визы,
Приёмных полированный паркет.
При жизни признан и посмертно издан –
Так было много раз. Претензий нет!

Во всём разочарованный алкаш,
Как все, я понимаю номинально –
Замалчиваньем ли официальным,
С кислинкою официоз признанья –
А ты не их, ты наш и только наш!

И вот вблизи от стен Кремля,
Бессмертной песне потакая,
Тот самый тёплый угол рая –
Обетованная земля.
Она нейтральная, ничья,
А в чистом поле у ручья

Правоверный цитаты долбит, как Коран,
Все зубасты, да зубы на полке.
А оттатуированный кровью экран
Обличает: «Вы псы, а не волки!»!

Эти песни – петля, ни потех, ни утех,
Век внимательно песне внимает.
Эти песни – они для меня и для тех,
Кто, внимая, не всё понимает.

Мы тоже, мы смогли бы, но...
А мы тишком, а нам бы молча,
А кровью всё обагрено,
Не человеческой кровью – волчьей!

Мне привиделось: в красном от крови снегу
Скаля зубы, идёшь на двустволки.
Мы, себя обгоняя, вопим на бегу:
– Не стреляйте, мы псы, а не волки!

Участниками многолетней тризны,
Себя сжигая заживо живьём,
Мы умерли мучительной жизнью
И вряд ли вечной жизнью оживём.

У каждого свой темп и свой маршрут,
Особенно у тех, чей возраст – осень.
«Народные» отпляшут, отпоют,
Уйдут – и в душу лучика не бросят...

Высоцкий пел, Высоцкий не служил,
Высоцкий не выслуживал награды.
«Заслуженного» он не заслужил...
Таким поэтам титулов не надо.

Магнитофон фонил, но и сквозь фон
Рвалась душа. И никому и нечем
Остановить безумный марафон
На скоростях, давно не человеческих.

Тебя стихи уносят в высоту,
И стрелка недопетости на «мортум»,
Дрожа, уйдёт к чертям и за черту
И разорвет и сердце, и аорту.

Прощай, Владимир, я тебя люблю...
А буду уходить из жизни плотской,
Я дотянусь, я клавиш утоплю,
И мне взревёт отходную Высоцкий.



ПОЭМА «ОТГОЛОСКИ»

(По мотивам Антуана де сент-Экзюпери)

Цыганка гадала

От пыльных батарей больничный неуклад,
Голубоватый дым горчит, не горяча.
Сгорает за окном, распластан и патлат,
Закатный горизонт, как тонкая свеча.

Но кто наворожил дорогу да беду
Длиною в сто разлук? Зрачки, как два штыка...
По алкогольным снам я за тобой бреду
Горячей целиной зыбучего песка.

Обуглят спину мне спалённые мосты,
Наткнусь на два зрачка, затянутые льдом.
Из всех моих надежд реален невпротык
Осадок ворожбы, пустой казённый дом.

Салют, казённый дом! Привет, казённый дом!
Злокозненный провал на всех подмостках дней.
А хищная рука неприбранных квартир
Нет-нет, да жмёт кадык всё твёрже и больней.

А где-то есть дома, белёная стена...
Приказ – и весь уют засунут в чемодан.
Непрочный хрупкий мир – квартира летуна.
А что там впереди? Марсель... Танжер... Туман.

Белеет на песке разбитое крыло...
Со стоном каждый шаг, с надсадом каждый дюйм.
Шагает за тобой и вязнет тяжело
Обширная гряда – конвой песчаных дюн.

Безмолвен горизонт. Пейзаж кирпично ржав.
Растает, как мираж, оазис за мыском.
Припадочный циклон цветного миража
Хочет над тобой, в лицо плюясь песком.

Смертельна желтизна, сгущение крови,
Но обморок, крутнув калейдоскопом лиц,
Споткнётся о зигзаг удачи и любви,
Что шпорой начертил в песке бесёнок-принц.

Мне эта ночь с лихвой осеребрит виски,
А день иссушит рот и кровь. И я отдам,
Но нет, не сто страниц – полжизни вам, пески,
И колющим зрачки бесчувственным звездам.

Земля людей... Моя кровавая земля.
Обитель зимних вьюг. Событий круговерть.
Выходишь в небеса, как пахарь на поля
Выходит сеять хлеб... А пожинаешь смерть.

Удар! И алый бант всё шире на груди.
Завертится в глазах Танжер и Асуан.
О, маленький мой принц, постой, не уходи!
Мой сокол, мой малыш, мой воин, Антуан.

Услышь же ты, когда, кусая самолёт,
Закружит, как оса, стервятник над тобой:
Журчание воды, скрип ворота. И вот...
Хочущий пасьянс из звёзд над головой.

Пустыня! Плавит мозг сжигающий желток.
Шагает человек без отдыха и сна,
И дремлет на плече причудливый цветок,
Ручонками обняв за шею летуна.

Ночной полёт

(Смерть Фабьена)

«А счастья нет, есть лишь покой и воля»

А.С. Пушкин

Мне на посадку заходить велят,
Но мутным мраком самолёт зашторен,
И урагана мёртвая петля,
Ломая крылья, ввинчивает в штопор.

Кромешным крепом затянуло скалы.
Сейчас порвутся тросы у руля!
Радист стучит, но радиосигналы
Не принимает мёртвая земля.

А там внизу кончины нашей ждут.
– Умерьте пыл, вам ждать совсем недолго,
Слепыми выпускают в темноту
Детей, больных достоинством и долгом.

– Пойми, щенок, ты мёртв! Ты обречен!
Спротивляться поздно! Слышишь, поздно!
Ну, тарахти, радист, своим ключом
По головам, по молниям, по звёздам!

В разрыве туч... но что это – обман?
Мелькает свет – вон там, правее где-то!
И освещает бурый океан
Последняя горящая ракета.

Осталось только к черту на рога!
Дырявя бури, с Богом препираясь,
Я две души несу сквозь ураган,
На пустоту крылами опираясь.

А выше созревают, как в раю,
Звёзд апельсины на небесной грядке.
Я их свечение сходу узнаю
В привычном и незбылемом порядке.

Но лжив их свет, и в них спасенья нет.
Всей страшной уязвимостью изгоя
Я осознал: «Мертвящий этот свет
Эквивалентен вечному покою».

Уже на горле медленные лапы
Кончины близкой. Зренье обрести,
Увидеть светлячок настольной лампы
И... выйти из пике на полпути.

Как уцелеть на этих скоростях?
Жать на педали? Плакать, не лукавя?
Глотая кровь, до судорог в кистях
Сжимаю руль обеими руками.

И прошлого немеркнувшие тени
Несу в тоннеле мрака на крыле.
Отягощаясь силой тяготенья
К моей убийце – матери Земле.

На бреющем я новый шквал отбрею,
Приму толчки, сводящие с ума...
...Они не только держат нас и греют –
Нам душу дарят старые дома.

Окаменевшей нежности пласты...
Извечность слов: «Тепло, любовь, усталость...»
И в них живая, тоненькая, ты –
Реальная, как этот мрак и хаос.

«Пласты любви»... Не плачьте же, мадам!
Смят ураганом и полузадушен,

Я улетаю к мертвенным звездам,
Бессильно уступая малодушью.

Разбрызгивая молнии винтом,
Мотор ревет надсадно и устало...
Буэнос-Айрес. Тишь. И над портом
Лимонное светило в полнакала.

А шеф исполнит свой нелёгкий труд:
Отстукан текст трагического бланка,
Зря, заходясь от ужаса, зовут
Охрипшие Мадрид и Касабланка.

Прими ж воспоминаний святотатство,
Тяжелый луч, горящая руда!
Заброшенности позднее богатство,
Прозренья исцеляющий удар!

Умолк мотор. Теряю высоту.
И, как на лезвие летящей бритвы,
На бьющую по днищу пустоту
Роняю самолёт полуразбитый.

Забвения предметы

Летим по трассам, шпарим трактами.
Куда торопимся, куда?
– По ломким рёбрам тяжким трактором
Пройдут забвения года.

А ты? – Не ты? Какая разница
Кому шептать любви слова?
Но почему забвеньем дразнится
Весны зелёная трава?

Любовь... Любовь... А тем не менее,
Как не люби, как не зови –

Найдёшь в любви одни сомнения,
А не забвение в любви.

Да! По весне сильней, заметнее
Трава... и кругом голова!
Трава забвения не летняя –
Тысячелетняя трава!

Но не печальтесь, всё изменится,
Настигнут нежные года.
Не зря бежит на нашу мельницу
Забвенья тёмная вода.

Что равновесье мироздания?
Когда сквозь жизнь наискосок,
Как желтый лист, летят страдания
В забвенья медленный песок.

А осень пёстрыми парадками
Грядёт на наши города.
Смывают всё, ничем не радуя,
Дожди – забвения вода.

Но всё изменится, измелется,
И не напрасно умер я –
В другой груди завертит мельницу
Надежды алая струя.

И будет биться, рваться – выжить бы!
Как я, ломиться сквозь года,
Пока на дно не бросит выжатым
Его забвения вода.

И всё дороже, незабвеннее,
Что через смерть наискосок,
Как облака, плывут забвения
В зыбучий, медленный песок.

Последний автобус

*«Для многих из нас этот автобус
оказался последним прибежищем.
Скольким из нас эти спутники
Заменяли погребальный кортеж?
И вдруг я увидел лик судьбы...»*

Антуан де Сент-Экзюпери

Трясусь в последней колыхаге,
Влекущей нас в аэропорт.
Внутри чиновники-бедняги,
Как погребальный мой эскорт.

Встаёт рассвет сырой и хмурый:
Болезни... будни бытия...
Кирпичный мир тюрьмы понурой,
Где смерть – амнистия твоя.

Немало числиться в бывалых,
Да, вы по-своему правы!
Вам стоило трудов немалых
Забывать о том, что люди вы.

Винтом не повернуть планеты,
И время не отправить вспять.
Но задушить в себе поэта?
Не проще ли поэтом стать?

Но вот и Вы. Я Вас искал,
Пространство грохотом наполнив,
Драконий росчерк сизых скал
В холодной гриве сизых молний.

Свобода полная грядёт,
И в клетку возвращаться поздно...
А ночь на землю упадёт –
Я проложу свой курс по звёздам.

Я, как старатель, в утлой лодке
Плыву фарватером теней,
Притягивая самородки
Ночных посадочных огней.

Вплываю в лунные салоны
Навстречу бакенам – горам.
И вижу синий и бездонный,
Нерукотворный звёздный храм.

Плывут пилоты и поэты –
Они со мною заодно,
Пусть выплыть к берегу рассвета
Из нас не каждому дано.

ЭПИЛОГ

*Есть такое твёрдое правило –
встал поутру, умылся, привёл себя
в порядок – и сразу же приведи
в порядок свою планету.*

Антуан де Сент-Экзюпери

По сини напролом
Слепящие винты.
Помешивай крылом
Альпийские хребты!

Внизу то лес, то наст,
То речка, то жильё.
Земля людей – для нас,
Да мы – не для неё.

В изломанной груди
Гуди, мотор, гуди.
Бессмертье впереди –
Со смертью впереди.

Фортуна двух забав,
Качает высота
На черный баобаб
Разрыва у борта.

Над грохотом границ
И над землёй ничьей,
И мальчик – звёздный принц –
Котенком на плече.

Но сказкой от лица
Не отвести свинца –
Скользнёт из рук штурвал,
И лётчик – наповал.

В изломанной груди
Гуди, мотор, гуди!
Бессмертье впереди
Со смертью позади.

И сбит, как птица, влёт.
Ложится тяжело
Тяжелый самолет
На мёртвое крыло.

Полет, ночной полет!
До утренней зари
Грохочет самолёт
Де Сент-Экзюпери.

Под ним то лес, то наст,
То речка, то жильё....
Земля людей – для нас,
Да мы не для неё.

ПЕСНИ К СПЕКТАКЛЮ «МАСКАРАД»
В ПОСТАНОВКЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА
«БИЦЕПС»

РОМАНС О ПОЛУПРЕДМЕТАХ

Осенняя печаль тепло относит к югу,
В продлении тепла – тепла не унести.
Моей полулюбви печальному приюту
Последний полудар, последнее прости.

В глазах твои глаза плывут неотвратимо,
Как гневных два огня с застывшего лица...
Ущербная душа ураном Хиросимы
Реакцией цепной пройдёт по сердцам.

Нас почувств наплыв, смывающий лавины,
Рассудка немоту на мелочах ловил.
Разорванный на две кровавых половины,
Куда ты, мой мираж моей полулюбви?



*В студенческие годы.
Сцена из спектакля
Николая Островского
«Горячее сердце».
Слева – Виктор Кузник.
Справа – Владимир Зюзин*

Полупрозрачья дрожь во мне многостепенна,
Прозрения свои начертят письмена,
Но им не проломить духовного застенка
Пустынности твоей, постылая стена.

Крушения любви замедленны и зыбки,
В крушении быстрее кружится голова,
И день преодолен, когда слова-улыбки
Гремели посильней, чем горечи слова.

О, как мне жаль тебя, мой ангелок безвинный,
Мой жалкий дурачок с измученной душой
От боли всей твоей кричащей, половинной,
Мешающей понять, как я опустошен.

Ах, полуправда всё, а может, полукривда?!
Я сам себе и суд, и полуадвокат,
За той моей к тебе летящей половиной
Осенняя печаль струится на закат.

Туманом и дождём ненастная погода
Предъявит лету счёт (перечисление вин),
И я полуборьбой раздавлен и разодран,
И как себя собрать из разных половин.

Заверчен пустотой. Как вырваться – не чаю.
От горьких почувств, очухавшись едва,
Я, как осенний лист, печально беспечален,
Но где ж она, отец, забвения трава?!

Мы заблудились все, мы гибнем в волчьей яме,
Нам не о чем мечтать и некуда идти,
И обряжает снег, искрясь под фонарями,
Мертвящий карнавал в цветное конфетти.

БАЛЛАДА О ЛЕВИЗНЕ

Что нам мёртвые химеры?!
Мы революционеры!
Наши маски – не расхожих слов ходули!
Соизвольте быть, как все,
Примеряйтесь к новизне.
Не согласны?
Получайте пули!

Карнавал, аттракционы.
Новизны аукционы
Предлагают позлащённые пилюли.
Выбирают люди сказки,
Выбирают люди маски.
Выбирайте!
– Выбираю... пулю!

Две тирады, три награды,
Два торжественных доклада
Вам в момент доставит на дом кули!
Залоснившийся парик,
Непрорезавшийся крик,
Покупайте!
– Заверните... пулю!

Время вертит карусели,
(Не хотели – всё же сели),
Вертит, как пробирку центрифуга.
До свиданья, господа,
Проволока в три ряда
Вам поможет не сорваться с круга.

Блёсток много, мало блеска.
Все свободны...но на лесках,
И заглочена наживка мёртво.
Карнавальные ужимки,

Не попрыгаешь с наживкой –
Ворохнёшься и крючок в аорту.

Птица в небе, веник в банке,
Четверть дырки от баранки,
Гвозди (кверху остриями) в стуле.
Недовольным исключенье –
В одиночках заточенье,
Покупайте! Покупаю – пулю!

МОНОЛОГ ИСТОРИКА

Пройдёмся вдвоём
по печалям моим изначальным!
Итог чистоплюйства
попутно швырнём на весы...
Мой мальчик! Сынок мой!
Кровинка моя! Мой молчальник
Не мучай, скажи – это правда,
мне снится, мой сын?

О мир мой,
раздавленный фарсом
зверино-утробным!
По пляшущим нервам басовой струны
обертон...
И крик задохнувшийся в мёртвую стену
вмурован,
И только осталось,
что лоб расшибить о бетон.

В свихнувшихся нотах
лилово-предательской ночи
Качаются маски
под тот нескончаемый вальс,
Мой бунт обернулся
тягчайшим из всех одиночеств,

Взбесившийся праздник
страшнейшим из всех каннибальств.

Прости меня, сын.
Я прощаю тебя – благодарствуй!
Мой друг, моя совесть!
Не надо о мёртвых тужить.
Мой бунт молчаливый –
 дробинка в стенах государства.
Религия правды смешна,
 и бессмертна религия лжи.

Пройдёмся вдвоём
 по печалям моим изначальным.
Под вальс, что стихает среди развалившихся
 стен.

Прощай, моя правда,
 бурлацкий надрыв за плечами!
Уходят родные,
 как кровь из разорванных вен.

МОНОЛОГ РАСКАЯВШЕГОСЯ ГЕРОЯ, ПРЕДАВШЕГО ДРУГА

У продажи запах лаванды –
Не отмыться, не соскрести!
Карнавальные варианты:
Душит, гадина, серпантин.

Что же делать? Куда мне деться?
Век технического расцвета,
Поощряющего людоедство,
Суперменство любых расцветок.

Мир достиг совершенства цели,
Стыд и совесть в себе убив,

И оптические прицелы
Наводя на крутые лбы.

Мозг наш взорван и разворован
Сексотекнами всех держав.
Мы скользим, кулаки бескровные
К смертно-белой груди прижав.

Что, науки бессмертно чудо?
Что ж ты, чудо, стоишь во фронт?!
Мелкотравчатость в изумруды
Украшает навозный грунт.

И помойные льём ушаты
На героев, что к нам спиной...
– Всё прекрасно, наш тёплый шарик
К нам лишь солнечной стороной.

Как я совесть в душе лелеял!
Но Иуды лицо открыв...
Серпантины – тугие змеи
Мёртвой прочности на разрыв.

КУПЛЕТЫ О ПАНТОМИМЕ

Всем к лицу немного грима,
Дамам – лёгкий перманент.
Всех мимичных – в пантомиму,
А пластичных – тех в балет.

Без подмостков, без билетов
Допускают мелкоту
К многоцветию балета,
Пантомимы немоту.

Но взгляните – это наши дети.
Предки – мы, не мы...
Тот – под чью-то дудку пляшет,
Тот – копирует немых.

Там кого-то продал кто-то,
Тут насилуют сестёр.
Пантомимные экспромты,
Где и кто их режиссёр?

Пантомима расстояний
От живых до мертвецов.
Пантомима покаяний
Окаянных стервецов.

Пантомима невидимка,
Пантомима пантомим.
Пантомима поединка:
Кто кого – на том стоим!

Торопитесь, поскорее,
К счастью, есть еще места.
Поединок стал острее –
Одиночка против ста.

Перехватывает горло,
Обрывается куплет
Пантомимой произвола –
Ничего позорней нет!

Пантомима воплей дружных –
Всё равно – банзай, капут!
Пантомима безоружных –
Бунт, увы, духовный бунт.

Мы ведь мимы, нам ведь нужно
Ждать, что кончится добром.
Бунт – стихия безоружных,
Обречённых на разгром.

Время превратит царевну в жабу,
Честность в пошлость, подлость в непорок.
Душу содержи как содержанку,
Правду не пускай и на порог.

Душной бездуховностью томимы,
В шорах режиссёрского жезла
Мы – статисты древней пантомимы
Двух великих пьес – добра и зла.

Век наш обесценивает личность,
Серости – ура и исполать!
Говорить сегодня неприлично,
Говорить сегодня – значит, лгать.

И стоит, закрыв лицо, бедный мим,
Никого из подлецов не черня.
Не забудь, что на лице твоём грим,
Не сотри его в поту, пятерня.

Мимы мира – мы молчим столько лет,
Говорящих – поискать на земле!
Как сказал один известный поэт:
«Мы молчим, молчим, как пуля в стволе!»

И всё же, мой друг, держись!
Ведь мимика – тоже жизнь.
И ты – минимально лжив.
И ты – номинально жив.

РАЗНОЕ

* * *

В мире шорохов и скрипов
Город спит. Ночная мгла,
К очертаниям прилипнув,
Силуэты обтекла.

Фонари в бессчетных лужах
Обдробили лунный свет.
Первым снегом утро вскружит
Дымно мглеющий рассвет.

Засыпай... В какие дали
Вманит первый блеск утра?
И в какой покой впечатлит
Отошедшее вчера...

* * *

Мне снился сон. Ужасный сон.
Тебе короче? – что ж, вот он!

Подонкидохнут и вожди,
Лишь вещи вечны и зловещи.
Атомной поганью дожди
По вымершей планете хлещут.

На каждой харе ярлыки.
(Культуру – в морг! Волторны – в урны)
В реке последние мальки,
Как главврачи номенклатурны.

Остался человек. Последний.
Шатаясь, встал в крови, в золе...
А кибердух и кибер-брэдни
Царят на выжженной земле.

Горючего глотнувши, Боря,
И, перегарами дыша,
Два робота уныло спорят
На тему: «Смертна ли душа?»

И кто-то, брякая натужно,
(Какая творческая высь!)
Подсчитывает все, что нужно,
Чтоб самовоспроизвестись.

Но, подсчитав, промолвит тихо
И обреченно – «Купорос...
И где найти киберничиху,
И что с ней делать? – вот вопрос!»

А электронная машина,
Освободившись от оков,
Дает программно матерщину –
(два миллиона матерков

Без никаких) – ну хоть ты тресни!
– «Дрянь, хулиганка! Ё... мое! –
– Бормочет кибер – «Я ж на песни
Запрограммировал ее...»

Но среди этой горькой прозы
Вдруг поэтический скандал:
Фантаст изловлен и опознан.
– Какой извилиною мозга
Он этот бред предугадал?

– Интересуются машины.
(Машинам суть нужна) и суть,
(То бишь почтенные плешины)
К энцефалографам несут.

Но странно в этих полушарьях,
Сто раз обыскав их до дна,
Энцефалограф не нашарил
Извилин – их всего одна.

И кибер (информаций центнер
Переработав) рек: «Все зря.
Извилина – лишь только центр
Дна мочевого пузыря.

Тогда откуда эта страстность,
Восторг, предвосхищенья, стиль?!
Но робот сухо и бесстрастно
Два слова выхрипел: «В утиль».

...Мне снился сон, ужасный сон.
Его прервал фантаста стон.

КОТИК

Дочери Мируне

Котик, котик, белый хвостик,
Ты зачем пришел к нам в гости?
Чтобы выпить мой компот?
Маму съесть, когда уснёт?

Дернуть шнур? Разбить бутылку?
Нос отгрызть у куклы Милки?
Ты ведь умный! Думай сам...
Их в обиду я не дам.

Отвечает котик: «Мяу!
Я искал родную маму.
Мама – тоже белый хвостик.
А пришел я к вам не в гости,

Принесли меня совсем...
Ваших кукол я не ем.
Я хочу совсем другое –
Беловато-голубое...

А чтоб мне не захлебнуться,
В таз нельзя, – налейте в блюдец.
Я немножко полакаю
И с тобою поиграю.

Если малость укушу,
То прощенье попрошу.
Я ведь маленький совсем
И Мируньку я не съем.

Ты уснёшь, и я в сторонку
Лягу спать в свою коробку.
Рано утром ты проснёшься,
Мне спросонья улыбнёшься.

Только на ночь далеко
Не запрячьте молоко».

ТЕНЬ САМОЛЁТА

Брату Боре

Назад не смотреть! Ни о чём не жалеть!
Сгореть, как осенней листвы позолота.
И волоком тащит по грешной земле
Меня самолёт мой. Я тень самолёта.

Любовь уплывает – извечный мираж:
Везёт подлецам, не везёт Дон Кихотам.
Мой пьяный азарт – это выход в тираж,
И я понимаю: я – тень самолёта.

Я тень самолёта. Но если летун
Свечой вертикальной уходит в атаку,
Я точкой бескрылой горю на лету
В последнем пике с отрицательным знаком.

В бессмысленной драке, в ночных кутежах,
Пять лет без подъёмов на спусках пологих,
Я – тень самолёта, я веком прижат
К последней, разъезженной этой дороге.

События проходят, как сны наяву...
Друзья? Собутыльники! Подлые рожи!
Живых прокливаю. Я мёртвых зову.
Я – тень самолёта, и кто мне поможет?

А раз не летать – остаётся в разнос!
(Родным причинять беспокойство бестактно!)
Я сам добровольно уйду под откос,
Не став добровольной добычей инфаркта.

Я цену познал и вину, и вине!
И то, и другое не стоит и чоха!
Целую дочурку! Приветик жене!
Я пасынок твой, так простимся, эпоха!



КОНИ

*Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.*

С. Есенин

Ох, коней я любил до тоски,
Увезу – и пеняй, не пеняй.
То мы лошади, то седоки,
Кто кого – и, айда, погоняй!

Погадай на меня, успокой,
Лист червонный мизинчиком тронь...
Ох, веселье от скачки такой –
Всё разбито, и жизнь, и нутро.

Жизнь, как жизнь – а цыган на коне.
Мы привычны: кто сверху – тот прав.
Неудачники зря обо мне:
«Не объезжен и глазом кровав!».

Рыл копытом, да шею не гнул.
И взбрыкнуть, и лягнуть был мастак.
Иноходец – работал как мул,
А уступчивым был, как мустанг.

Я коней воровал и менял,
А они, раз от разу лютей,
И швыряли на землю меня
Под копыта других лошадей.

Выводите седых да гнедых,
Пегих, в яблоках, серых как все...
Все копытом старались под дых,
И катали... лицом по росе.

Не допить мне теперь, не допить.
Знаю я, не привиделось мне,
Не успеть, нипочем не успеть
Прокатиться на белом коне.

Ну а тот – не пройдёшь стороной!
Только дверь нараспах из сеней –
Вот он мой, под седлом, вороной,
Масти ночи цыганской черней.

Погадай на меня, мой сентябрь,
Всю колоду раскинь во хмелю!
Да и ленты, поярче, хотя бы
В хвост и в гриву вплети ты коню.

Этот конь седокам по плечу,
И – куда там другим седокам!
Поскачу и на нём полечу.
То-то будет потеха людям!

Только что же ты, черная масть,
Я тебя воровал за коня.
Век волкам бы меня не достать,
Да в кольцо зажимают меня.

На седле я, выходит, зазря
Обвисаю бессильный, и вот
Улыбается серым зверям
Вечным свистом растянутый рот.

Покатай. Погадай, успокой,
На расклад из-под рук посмотри.
Догадайся... Характер такой:
Всё живое отбито внутри.

Говоришь, я конями пропах?
Разбирайте их, ваша взяла.

Сеем и пасуем, но спасаем
Больных, блатных и тонущих в реке.
И SOS почтовым голубем взлетает
Мне на плечо на древнем языке.

Поймите, это так огромно много
(Не водку пить, не песни сочинять!) –
Почувствовать себя, подобно Богу,
Волшебником, умеющим спасать.

И мы преображаемся, спасая.
Плевать, что недоносков и калек.
Спасатели отлично понимают –
Галактике подобен человек.

Прислушайтесь: в квартирах и палатках,
Под жарким солнцем в ливень и мороз
Как миллионы гибнущих галактик
На радио отстукивают SOS!

«SOS!» – кричат коробки общежитий,
По древнему страдая и любя.
Счастливые спасатели, спасите
Несчастный век от самого себя.

А век бряцает атомным оружием
Самоубийце пьяному под стать.
А век кричит: «Спасите наши души!»
Но наши души некому спасать.



СУДЬБЫ НАШИ

ПОВЕСТЬ

Часть 1. Начало

1955 год. Институт окончен. Виктор Петрович Савич. Черноволосый худощавый спортивный парень. Двадцать четыре года. Выразительные черты лица. Кудрявые волосы, красивые карие глаза. Резковат, насмешлив. Склонностей в медицине никаких. Хирургию не любит. Грубая работа, боли, кровь, жесткая дисциплина. А он анархист, скептик. Наклонность к искусству. Плохие стихи, эпиграммы, художественная самодеятельность. В прошлом коньки, бокс, прыжковая акробатика, гимнастика – все понемногу. Собаководство. Выглядит лет на двадцать. За врача никто не принимает. Не похож на врача, и все. Направляют вместе с женой на север Байкала – Нижнеангарск, главным врачом районного тубсанатория, он же и единственный ординатор, он и рентгенолог. Природа ошеломила. Краски гор на противоположном восточном берегу в нереально ясную погоду, особенно по вечерам – зрелище незабываемое на всю жизнь. Масса приятелей – промысловики, охотники, рыбаки. С коллегами других специальностей взаимоотношения конфликтные, идти на компромиссы еще не умеет, дипломатичности никакой, а оснований для принципиальных разногласий полно. Больных туберкулезом мало, но лечебный процесс поставил, как учили, по всем правилам. Туберкулезники его любят, а больные общего профиля – один конфуз. Приходилось замещать коллег – врачей мало, ну и наломал дров. Опыта-то никакого не было. Об ошибках в диагностике заговорил весь поселок, к нескрываемому удовольствию других врачей. В санатории у себя – другое дело. Страстность и цельность характера сразу проявились в полной мере. Обход два раза в день. Ночные проверки. Особенно бдительное отношение к тяжело больным, и это уже на всю жизнь.

– Слушайте, Кондратий Васильевич (фельдшер, заведующий райздравотделом), хочу я провести поголовный осмотр сельских жителей на туберкулез, а то в санатории много коек пустует. Да и кто лежит-то? Хроники!

– Виктор Петрович, я бы не против, но кто работать будет за вас.
– Я-то других замещаю, да и еду-то не отдыхать, работать по специальности.

Кое-как дело сладилось. В санатории замещала жена. Маршрут – Верхняя Заимка, Верхнеангарск, Саяны. Триста пятьдесят километров. Саннный обоз с переносным рентгеновским аппаратом, бензином и генератором отпустили вперед. Сами пошли на лыжах. Он и рентген-лаборант, парень двадцати шести лет, свой в доску. Проходили за день от сорока пяти до шестидесяти километров. Ночевали в зимовьях. Ледяная водка и расколотка и из мороженого омуля, звериное мясо. Мертвый сон на нарах, покрытых еловыми ветками. Мороз до пятидесяти пяти градусов, мертвая безмолвная тайга, придавленные снегом березы, кедрач, лиственница. Вечерний чай с зимовщиком, и разговоры, разговоры. Ни зверька, ни птиц, одни следы на снегу, и безмолвие – Джек Лондон, и все тут. Толку от профосмотра было немного, выявил двух больных и хватанул вместе с помощником дозу – о защите тогда и понятия не имел, а просмотрели полторы тысячи человек. Вернулся и затосковал. Работы мало. Обстановка и отсутствие опыта ограничивает. Пневмоторакс наложишь больному, а спайки пережигать – ни условий, ни опыта. Начал осознать, что без хирургии далеко не уедешь. Захотелось овладеть хотя бы элементарщиной. С этого и пошло. С тем и уехал на полтора года раньше срока. Но возражать никто не стал – не прижился в районе, вот и отпустили. Уехал с настроем становиться хирургом. Увез чемодан Байкальских фотографий, склонность к рецидивирующей пневмонии и твердое желание стать фтизиохирургом, пережигать спайки, делать операцию торакопластики и экстраплеврального пневмолиза, а время уже ставило перед хирургией туберкулеза другие задачи, но об этом он еще не знал.

1956 год. Зобнин Евгений Филиппович. Человек очень высокого роста и ужасающей худобы. Всегда вылощен по-европейски, одет с иголочки. Ему чуть за сорок. Худое породистое лицо аскета и иезуита. Глубокие стальные маленькие два сверла под кустистыми светлыми бровями. Редкие волосы, тщательно зачесанные назад. Необыкновенной красоты кисти рук, с худыми длинными, перепле-

тенными синими венами, пальцами. Эти руки всегда спокойны и никогда не суетятся. Они умеют все. Все вместе создает облик совершенно неотразимого обаяния.

Авторитет выходит далеко за рамки местного. И откуда только не едут к нему больные на операции – тут и Сахалин, и Иркутск, и Камчатка и...

– Значит, Виктор Петрович, стаж ваш – два года, и вы хотите заняться легочной хирургией?

– Да, Евгений Филиппович, хочу.

– Вы знаете, это очень трудная область, и мне хотелось бы уяснить, чем вызвано ваше желание...

– Оно (черт, слишком высокопарно!) выстрадано, Евгений Филиппович.

– ?

(Коротко о себе. Кажется впечатляет. Так, посуше. Четче и с достоинством).

– Видите ли, Виктор Петрович, мне трудно представить легочного хирурга без хорошей общей подготовки по хирургии. У нас в программе самого ближайшего времени резекции легких, которые пока не идут. Вам надо будет очень много работать и осваивать все азы общей хирургии.

– Я готов, Евгений Филиппович!

– Ну что ж, давайте попробуем. – Рукопожатие. – Поработаем вместе. Ваша семья? Так. Жене можем предложить место рентгенолога в онкологии. Ясли? Это не проблема. Квартиру – три комнаты – получите в течение месяца. Пишите заявление. Поднимитесь в первое хирургическое отделение к Зинаиде Ивановне. Это заведующая. Скажете, что направлены на учебу по общей хирургии на шесть месяцев. Туберкулезных больных (их всего четверо) примете сегодня. Вы свободны.

Волкова Зинаида Ивановна. Заведующая первым хирургическим отделением. Правая рука Зобнина. Тридцать два года. Статная женщина. Тяжелый узел каштановых волос на затылке. Широкое простоватое лицо, почти всегда улыбка. Умнящие карие глазки. Сметется заразительно и часто. Зобнина обожает и боится, как и все в

хирургии. Раньше была терапевтом, шеф в хирургию переманил. И не ошибся. У женщины муж, пацан двенадцатилетний, а она пропадает в больнице, и хирургом стала классным. Иронична, но как-то по-доброму и не обидно. Виктору: «Пойдем, профессор, больницу посмотрим». Персонал ее любит и не боится вроде. А порядок у нее железный. Впрочем, в меньшей степени зависит это и от старшей сестры.

Штайнерт Виктория Ивановна. Выразительное, чуть одутловатое, с утиным носом лицо. По-русски – с выраженным немецким акцентом. Явно пятый десяток. Виктора сразу берет под опеку – это мой сын – в шутку, конечно. Уже через несколько дней в ее отношении к нему шуткой и не пахнет. И за всю жизнь свою, ни до этого ни потом, не встречал он женщины с таким по-матерински теплым отношением к себе, до самоотверженности, до любых жертв (и на самого Зобнина не побоялась бы кинуться, если бы задел ее любимца!). И с первых дней весь персонал принял его всерьез, гораздо больше, чем он того заслуживал, и получал широкий резонанс каждый его маленький «подвиг», хотя бы затем, чтобы доставить удовольствие Виктории Ивановне. Сестры перед ней трепетали и благоговели одновременно, и уж она-то следила, чтобы этим трепетом не был обойден ее любимец, а уж чтобы свое недовольство за спиной выражать как-то, такого и в помине не было. Крепенький был коллектив.

Валентина Григорьевна Трубина. Она старше Савича на год, а по хирургическому стажу на три года. По-детски миловидное лицо сразу и навсегда заблудившейся на нём улыбкой. Бескорыстный руководитель его первых шагов в хирургии. Раньше была терапевтом, шеф в хирургию переманил.

– Вить, ты правда надеешься, что Евгений Филиппович тебе лёгочные операции отдавать будет? Да он до сих пор и близко к ним никого не подпускал. Всё сам. Правда, и ведем-то мы этих больных из-под палки. Никто не хочет ими заниматься. По очереди маемся каждый месяц. Ты-то для него находка. Савич, а, Савич, а у меня для тебя что-то есть, угадаешь?

– Аппендицит?

– Точно!

– Шутовской поклон, Валь, подари, а!

И она дарила. А если отказывала, то на передовые позиции выводилась тяжелая артиллерия – Виктория Ивановна.

– Ну подумать только – драматический жест, плутоватый карий блеск из-под бровей – она паршивый аппендицит – и кому? – сыну моему пожалела! Ей уже-таки надоело выпендриваться в накрахмаленных халатах! И Валька, тяжело вздохнув, отправлялась с ним мыться – ассистировать.

Эпизод. Вечер. Зинаида Ивановна:

– Ой, Евгений Филлипович, вы еще здесь, а я домой боюсь уходить. Савич дежурить остается, а мне мальчик (сегодня поступил) не нравится чем-то, а чем не могу понять.

– С чем мальчик?

– Он утром упал с дерева, с высоты три-три с половиной метра. Сознание не терял. Да, Евгений Филлипович, мочу смотрели дважды, все в порядке. При поступлении болел живот – сейчас не болит. Много раз смотрела живот – он не внушает опасений. Напряжения и болезненности нет, и гемодинамика все время стабильная, а вот не нравится, и все.

В палате Зобнин смотрит ребенка, тщательно пальпирует живот, задумывается. Быстро:

– А ну встань! Мальчик поднимается и вдруг, пошатнувшись, падает на руки персонала, и резкая бледность, и холодный пот, и коллаптоидное состояние. Зобнин, поворачиваясь к коллегам всем телом, с ехидно улыбающимся лицом:

– Ортостатика, товарищи. Это называется разрывом селезенки. Оперируйте, Зинаида Ивановна. Виктор Петрович поможет, а я дам наркоз.

Савича всегда поражали такие эффекты. А уж чего-чего, а на них шеф был щедр безгранично. И ведь ни в какой литературе не откопаешь такого диагностического приема. Конечно, на операции все подтвердилось. Селезенка разорвана чуть ли не пополам, и кровопотеря изрядная. И мальчик выписался на десятый день в отличном состоянии. И объяснялось-то все довольно просто. До поры до

времени организм компенсировал медленную значительную кровопотерю спазмом сосудов, усилением сердечной деятельности, и только острый перевод больного в вертикальное положение привел к срыву – резкому падению артериального давления, и диагноз вот он – на ладошке.

Эпизод. Дежурит Валька Трубина – Савич составляет компанию. Полночь. В приемный покой доставляют больного с острыми болями в животе. Оба хирурга смотрят его внимательно и долго расспрашивают, делают необходимые анализы, наконец, берут в рентген-кабинет, и, не найдя ничего срочного, с диагнозом «острый гастрит» передают дежурному терапевту. Потом в ординаторской – чай, бутерброды, разговоры, записи. Внезапно в дверях возникает знакомая тощая фигура, и с порога угрожающе и зло:

– Валентина Григорьевна, почему вы оставили в приёмном покое больного с тяжелейшей формой кишечной непроходимости?!

– Мы, Евгений Филиппович, ничего похожего на непроходимость не нашли, – наливаясь румянцем и не переставая улыбаться, бормочет Валька, – мы его и на рентген...

– Не нашли, потому что не искали, – обрывает Зобнин. – У больного несомненно узлообразование. Немедленно противошоковую терапию и в операционную!

Развязать или разрубить узел не удалось. Больной умер на операционном столе.

Фофанов Николай Иванович – хитрая бестия, хирург старый, опытный и умный. Он как раз из тех людей, про которых никогда не знаешь больше того, что он сам пожелает сообщить. Всегда себе на уме. Плотный, грузный, с коротко остриженными седыми волосами, стареющий мужичок, не лишенный своеобразной тяжеловесной грации и обаяния. Полная противоположность Зобнину. Дело знал превосходно. Читал, наверно, больше всех и любил блеснуть знанием медицинской литературы, в том числе и областей, весьма далеких от хирургии. Скрытный, нередко обидно ироничный, любивший кольнуть походя, а может даже и порадоваться втихомолку чужой беде. Оперировал без блеска, но надежно, основательно, а вот организовать операцию, как Зобнин или даже Волкова, никог-

да не мог – маленького какого-то винтика, внутренней дисциплины или культуры не хватало у него. В общем, подвизался он у Зобнина, как говорится, «на подхвате»– урологические койки, гинекология, ну и дежурства, конечно, со всеми вопросами, которые они ставят.

Эпизод. Ординаторская. Ночь. Фофанов – Савичу:

– Вот я на тебя второй год смотрю, Савич, да и откровенно говоря, удивляюсь и тревожусь почему-то. – С улыбочкой. – Нет, ты не подумай чего-либо плохого! Но меня всякое явление тревожит, покуда оно непонятно. Пойму я и внимания обращать не буду. Объясни мне, пожалуйста, что ты за человек такой? Карьерист? Так жертвы великоваты для карьериста. Сумасшедший? Ну всякие повороты возможны, конечно, но не похож ты на шизика. Ты скажи, зачем тебе нужно это сознательное самоубийство, эти дежурства, сверх всякой меры и, прости, эти аффектированные переживания? Ах, Иванов затяжелел – да скажите, пожалуйста, ну сделай все назначения, да и будь здоров! Ах, Петров умер! Да кто он тебе – папа? брат? ну что ты делаешь со своей личной жизнью? Ты, может, думаешь – у тебя их две будет!

– Николай Иванович, так вот это самое и есть моя личная жизнь, другой не хочу. Что касается того, что вы называете аффектацией – ну, я хотел бы, конечно, чтоб это всё притупилось со временем, а пока, сейчас несчастье с больным для меня – личное несчастье, если хотите – беда, я здесь ничего с собой поделывать не могу.

Фофанов слушал его, удобно развалясь на диване, посмеивался принужденно, потом, вяло пожевывая мундштук папиросы, неторопливо и методично изложил свою теорию. Сводилась она к тому, что больной не имеет права претендовать более чем на добросовестное исполнение врачом обязанностей, и то только в пределах оплачиваемого рабочего времени. А уж переживать, расстраиваться – он слуга покорный. А Савичу он, как старший товарищ, советует сменить стиль.

– Зобнин, он себе на уме, – продолжал, вставая и старясь поймать взгляд собеседника, – Фофанов, ты ему нужен, он в тебе заинтересован, вот и старается удержать тебя возле себя, а далеко по этой дорожке он никого не пустит. Он ведь, Евгений Филиппович, все

под себя привык забирать и почет, и преклонение, и все ему мало. А уж чуть хвост поднимешь – только тут тебя и видели. Побереги ты себя, Виктор Петрович, нельзя гипертрофированными ощущениями долго жить, надолго тебя не хватит. Куришь непрерывно, с работы не уходишь, питаешься как попало, так ведь никакого здоровья не хватит.

А как оперировал шеф! Боже, как он оперировал! Потом Виктор видел многих хирургов, и маститых, и профессоров, и даже академиков, восхищался многими из них, а, восхищаясь, он твердо знал, что никогда, никогда больше не увидит такого законченного артистизма, такого изящества, далекого от кокетства и бесплодных попыток произвести впечатление – понравиться. Это было, как колдовство, и оно захватывало напряженным внутренним ритмом, при котором напряжение прячется за автоматизмом, как бы не ощущается вовсе. Всё совершалось свободно и легко. Это был гений, супермен скальпеля и ножниц, поэт разрезов, это был шеф – Зобнин Евгений Филиппович, главный врач и ведущий хирург медсанчасти алюминиевого завода.

А Савича Зобнин вроде и не замечал вовсе – некогда ему было Евгению Филипповичу, шутка ли сказать – главный врач единственного в городе стационара, и все большие операции сам, и конференции, и совещания у городского начальства, и строительство новой больницы – огромного на целый квартал четырехэтажного корпуса с колоннами – не больница, а дворец. Тогда еще допускались всякие украшательские вольности, и бог знает, где раскопал он этот проект, и было в этом здании что-то присущее лучшим образцам ленинградской архитектуры, это уже потом начали строить, как лепешки печь, – все на одно лицо.

В общем, время шло, а прогнозы многих не сбывались. Шеф не зажимал Савича, и уже на первом году работы он начал делать самостоятельно стандартные торакальные операции: торакопластику, кавернотомию, научился выхаживать больных и ставить показания к операциям и ухитрялся читать прорву литератур – в общем, варился в хирургическом котле с предельной отдачей и привыкнуть не мог только к одному – к смерти. И уж что совсем из ряда вон

выходило – переносил одинаково тяжело как свои неудачи, так и неудачи шефа. Удивительно, что много лет и тогда, и потом он, казалось, не испытывал большого ущерба от хронического недосыпания – практически мог не спать и пять суток, и больше, и сколько понадобится – подремлет где-нибудь в уголке минут тридцать, и опять свеж, и опять на ногах, и опять включился в извечный круговорот: приемный покой, операционная, перевязочная, палаты, обход, ординаторская, и опять, и опять. И когда делал очередные мелочи в операционной по плану, все казалось: вот сейчас, сию минуту произойдет какой-то перелом – пальцы зажимами поймают некровоточащую ткань – ритм, суть, и операция потечет красиво, как песенка, как у Зобнина, и это уже навсегда, и вот тогда он успокоится, найдет себя, станет профессионалом. И каждый раз уходил расстроенный и недоумевающий, злой – куда там, как у Зобнина, как у Вальки, и то не получалось. Техника входила в него, становилась плотью незаметно, исподволь, накопление мастерства шло по крупницам – настолько медленно, что он не замечал никаких сдвигов. Так и бывает обычно. И только вдруг кто-то, кто давно не видел тебя в операционной, вдруг присмотрится и хмыкнет удивленно, а может радостно: «Смотри-ка ты, хирург!»

Тяжелый шатучий стол тонко вызванивал хрусталём и фужерами, и неправдоподобный, красный, попирая, проламывал низкие небеса в бесцеремонно языческом пиршестве пламени, непереносимый уральский закат. И в блестящих гранях, и наплывах застольно-хрустального рая, выламываясь, дробились и плыли куда-то пурпурные отблески заката и разноцветья претенциозно натыканных свечей. А в Москве, говорят, сейчас так принято, а у Зои Рабкиной день рождения, и все такие чинные и неестественные немного, и Лидка фальшиво оживлена, а разговор не клеится – да и с чего бы? – ведь прямо-таки умилительно трезвые все!

А разодеты, «как на именины». Андрей – капрон белее горного снега. Галстучек – блеск! Импорт! Париж – не иначе! И черт ее знает, где это люди берут такие вот пиджачные тройки в искорку, ну с ума сойти, сам из себя выскакивает – выдаёт бесчисленные свои скабрзные анекдотцы. Савич в таких случаях остро ощущал непри-

частность компании. Невидимый и глухой забор чуть ли не патологической застенчивости надежно отгораживал его от других. И вот сейчас все будут наедаться и выпивать, и, хозяйку нахваливая, веселиться во весь свой жеребячий, уральский мах, а ему так и не удастся (чувствовал!) стряхнуть свою некомпанейность и за столом будет сидеть бирюк-бирюком, и делать всё с удручающим и, должно быть, жалким неизяществом. А уедет домой с вконец испорченным настроением, хорошо еще, если не умудрится испортить его и другим. Так вот он и сидел. Сидел и завидовал полупьяной развязности одних, рисованной раскованности других, а он-то ведь так не может! И что за характер проклятый – люди веселятся, а ты – казись!

И уже изрядно выпито было, и стол в сторону, и танцы, и Зобнин всех подряд нёс в шахматы, как хотел, и уже какую-то дурацкую игру затевала Зойка, а Лидка организовывала то ли кофе, то ли еще что-то и сновала с подносами на кухню и обратно. И тут вставший в центре зала Савич картинно отбросил руку с дымящейся сигаретой и, направив куда-то вверх невозможно шальные, пьяно блестящие свои глазища, неожиданно сильным и твёрдым голосом, легко подыгрывая ритмом и настроением (а интонации и все-все давалось и находилось чувством – безошибочно!) повел – бросил в зал ладную и крепкую мелодию Твардовского « На околице войны в глубине Германии...» И стихло всё. Пригорюнилась-размечталась на диване Лидка. Небрежно развалясь, покусывал иезуитски бескровные свои губы Зобнин. Затих-вылез из скорлупы полупьяного веселья Андрей. И с любопытством, и ласковенько так всё посматривала на него и улыбалась, улыбалась коварно и влекуще краешками крашенных губ Зойка. И были аплодисменты, и просили еще и еще, и он читал – не жадничал, и еще – из Теркина, и Есенина, и Маяковского... А потом кто-то откинул тяжелую штору, и невыразимо акварельной нежности, лилового застенчиво и печально, слабо выцветал за окном, почти сиреневый и трогательно сентиментальный, северный уральский рассвет.

Зоя Рабкина:

– А интересные ребята – Савич с женой. Интеллигентные дети. Есть ведь в нём что-то, что делает его личностью, хотя замкнут

предельно, и многого из него не вытянешь. Есть в обоих какая-то невытравленная ещё чистота, даже не верится, что медики. Ну, Лидка-то та попрacticalнее, а этот – совсем дитя. А уж начитан – многим далеко. Вот если бы он ко всем свои прелестям еще и стихов не писал. Чудак – прячет, стесняется, наверное, думает, что это и впрямь шедевры. Лидка показывала, а уж сама-то испереживалась вся: «Правда, неплохо? правда, здорово?» А что там здорово – просто грамотная мазня. А ведь как читает стихи, стервец! Вкус и мера просто удивительные! А не понимает, что сам пишет плохо, бледно, анемично. Надо Зобнину сказать, чтобы помягче с ним, с Савичем. У него другого такого нет, и не будет. А Лидка мне вроде и рада искренне, а ведь ревнует, стерва! Вечное бабское начало. И десять лет разницы вроде не причем.

– А ты подумай, Зоя, может ты сама выдергиваешься перед ним сверх допустимого – вот она и чувствует?

– А что, я бы и впрямь не прочь, – рассмеялась она, – вот был бы альянс, ухочешься!

С ней, с Зоей, интересно получилось. Он тогда дежурил хирургом по больнице до пятнадцати–двадцати раз в месяц. Все хотелось скорее постигнуть, обогнать время, оседлать практику этого дела мертво. Вот и дежурил через день и чаще, и самостоятельно, и со зрелыми хирургами. Ну те отсыпались, а он вкалывал. Это всех устраивало, и его, и их. Он быстро рос тогда и вширь, и в глубину, и технически. Аппендициты щелкал, как орешки, и раздувался от гордости: «все могу», и приобретал необходимую хирургу уверенность и заодно благосклонность начальства и коллег. Всегда под рукой человек, который не откажется отдежурить. И вот привозит ее, Зою, скорая. С ней старичок какой-то благообразный. Женщина лет тридцати пяти. Не сказать, чтобы толстая, но в теле. Сразу дает понять полунамеками, что цаца она непростая, но на операцию согласна. Наверное, сработал обывательский рефлекс, что аппендицит, мол, ерунда – любой сделает, да и он как-то так себя сразу поставил, что как потом выяснилось, язык у нее не повернулся сказать, что я, мол, подожду твое начальство, что вопрос этот согласован в инстанциях – не тебе чета. И он ничтоже сумняшейся её – на стол. Конечно,

аппендицит оказался синеньким, но живот – гора, и спаек полно. И тут он вполне оценил, как она за словом под простыню не лезет. В общем беседа во время операции вышла за пределы академического уровня. Обоюдно вышла. И сразу после операции пришагал в больницу Зобнин – ее оперировать. И сразу посыпались телефонные звонки – горком, институт марксизма-ленинизма, горздрав, и бог знает кто еще. Они уже во время операции бомбардировку начали и хватались за волосы, что он не подождал старших, и понять не могли, как же это так все случилось.

Ну Зобнин-то ему тогда ничего не сказал, только посмотрел как-то по-своему. Не понять, чего больше в этом взгляде – сарказма или чего-то другого, похуже. Это он умел – Зобнин Евгений Филиппович. Ну а последствия не заставили себя долго ждать, как и следовало по всем, шкурной десятки раз прочувствованным законам подлости, или падающего бутерброда, или как он там называется. Уже через пару дней, при непрерывном паломничестве начальства и соответствующем количестве косых взглядов, у нее инфильтрат в животе, и немаленький, так с два кулака примерно.

Зобнин ее смотрел (находил время) по пять-шесть раз в день. Да и другие около нее вертелись. Ну и Виктор пометал икру. Он и раньше, и потом, и всегда переживал неудачи острее других, и все это видели. И Зоя вдруг прониклась благородством, и его утешала, и оправдывала, и в конце концов все обошлось в лучшем виде. И потом она без приглашения заявила к ним домой с мужем вместе, и началась эта дружба семьями, даже роман, который и начался и кончился одной ночью (стыд – вспомнить!), она этого всегда добивалась, а он всегда из кожи лез – забыть!

Она и в больнице стала своя, приходила читать лекции по международному положению и политике, и делала это как никто. Голос грудной, низкий, поставленный, дикция – блеск, бумажек никаких, и несло ее, голубушку, как по волнам, и все не дышали – слушали. Зобнин перед ней мелким бисером рассыпался, и уж, конечно, дело было не в том, что она начальство, не из тех он был людей, Евгений Филиппович. Она и на вечер медицинский раз пожаловала, и после застолья все было непринужденно и весело – пошла, напросилась с

Савичем танцевать. Народу было – пропасть. И вот во время танца он ощутил на себе острый и назойливый взгляд какого-то парня. Крепенький был паренек, молодой, лет двадцать, и на голову выше. А в Викторе веселье и молодость бродили вместе с вином. И ему бы отвернуться благоразумно, так нет, тем же манером, так же нахально на того уставился. Настроение было райское. Только-только вышел из боев за одну, казалось бы, загубленную жизнь больного, который, казалось, был обречен, и все же начал поправляться. Тот сразу подошел после танца, взял за локоть – крепко взял и сладеньким таким голосом Зоя:

– Извините, пожалуйста, – ему – Можно вас на одну минутку?

Виктор расхохотался ему в лицо, по-настоящему добродушно – делить-то было нечего, Зоя тому в матери годилась, начал этого куда-то поворачивать к себе спиной:

– Иди, Алеша, мне, ей богу, и без тебя хорошо – и тут тот плеснул пощечиной. Старый рефлекс сработал мгновенно. Он не успел ничего подумать – три прямых в подбородок вырвались помимо его воли, и последнее, что он увидел, как тот, запрокинувшись вдруг побелевшим лицом, плашмя, как в замедленной киносъемке, ложится на пол. Только много времени спустя до Виктора дошло, что вслед за тем его и самого кто-то со стороны отправил в нокаунт, кто он, не увидел. А вскочил он мгновенно, и Зоя держала его, и все говорила: «Ну и злой же ты, Савич, ну и злой». И кто-то прыскал водой на того парня на полу. А Виктор вырвался из кольца вдруг набежавших охающих сестер, затарахтел вниз по лестнице и затаился в пространстве между стеной и перилами. И вскоре вниз к выходу быстро прошагали два рослых парня, один из них вдруг сказал:

– Ну не забывай, что тебе еще домой идти.

И только когда их вынесло за дверь, он понял, что ударил его один из этих подонков, подло, из-за спины ударил, и не из-за счетов своих каких-то...

Саша Боровиков. На функциональной койке – все как надо – спина в приподнятом положении, ноги согнуты в коленях, белое личико с кулачок страдающие глаза, тонкие синеватые губы, одышка, с участием вспомогательных мышц – паренек. Возраст неопреде-

лим, и уж во всяком случае, много старше своих двадцати четырех, записанных в истории болезни. Из-под простыни грудь, укутанная в многослойную, промокшую гноем повязку.

– Здравствуй, Саша! Я твой новый лечащий врач. Меня зовут Виктор Петрович. Будем вместе выбираться из этой передраги, и ты мне будешь помогать, не я тебе, а ты мне – договорились? Мгновенная смена выражений: и недоверие, и надежда, и что-то еще почти неуловимое, и все вместе. Мелькает мысль – он, наверное, в любом из нас хочет видеть спасителя, что ж я с ним делать-то буду, чем помочь? Он болеет туберкулезом три года. За это время правое легкое разрушилось полностью, появились очаги в левом, и, имея немалый опыт в менее сложных легочных операциях, Зобнин решается выполнить ему пульмонэктомию, то есть удаление всего легкого справа. Оперировали под местной анестезией, и все пошло хорошо, а на двадцатый день после операции произошло полное гнойное расплавление операционной раны и культи бронха.

Зобнин:

– Какой тут механизм срывает мне не совсем понятно, только во время перевязок создается впечатление, что его спасает от смерти лишь быстрота. Стоит снять повязку, и он мгновенно чернеет – самое настоящее удушье. Мне думается, что это спазм бронхов в ответ на раздражение бронхиального свища холодным воздухом, хотя нельзя исключить и другие неясные причины. В литературе по этому вопросу почти ничего, сами понимаете – дело новое. Виктор с ужасом смотрит, как снимается повязка. Огромная рана, огромная полость в потеках гноя и слизи. Больной конвульсивно дергается, извивается всем телом, и в полости ходуном ходит средостение, сердце, сегмент трахеи. Из свища с хрипом и свистом вырывается воздух, кожа наливается чугунной чернотой. Мелькание рук, инструментов. Сверху на рану, в обхват – полотенце, смоченное серой мазью неприятного запаха, тугая повязка с лямкой через плечо – все.

– Следующую перевязку будете делать сами.

Виктор смотрит назначения – глюкоза, витамины, сердечные, стрептомицин, фтивазид. Что же делать, чем помочь парню? Опять смотрит больного. Он уже порозовел немного, обильный пот.

Истощение резчайшее. Говорит слабым голосом и все еще хватается ртом воздух. При кашле, натуживании, разговоре из-под повязки выходит воздух. Так. Это, конечно, усиливает дыхательную недостаточность. Что если затянуть повязку потуже. Попробовал. Нет, не то. Бинт сильно сдавил ребра слева, и больной уже через полчаса попросил ослабить ее. А что, если плотно затампонировать плевральную полость, и тем самым изолировать свищ. Возможно, что тампоны, плотно соприкасаясь со стенками полости, будут стимулировать рост грануляций, оздоравливать ее? Уменьшать гнойную интоксикацию? Пойти посоветоваться с шефом? А если запретит? Шеф не запретил.

– Марья Васильевна (Маша Корзунина), мне завтра для перевязки Боровикова понадобится очень большое количество крупных тампонов, смоченных в фурацилине и хорошо отжатых.

Перевязка. Больному дают кислород из заранее приготовленных подушек. Виктор снимает повязку, и сразу всей рукой, раскрытой ладонью – к средостению, сердцу, свищу, плотно прижимает направленный тампон. Кашель, конвульсии, плотней, еще плотней! Громко:

– Тампон! (лихорадочно) еще тампон, и туда, под ладонь, и другой – к стенкам. Так. Мельком взгляд на больного – синий?! Розовый! Розовый, черт возьми!

Через полчаса:

– Виктор Петрович, я как на свет народился. Уж и не знаю, как вас благодарить.

– Ну и хорошо, Саш. Дальше будет лучше.

– Вы как появились первый раз, я сразу понял, что поможете, что теперь жить буду.

– Ну ладно, хватит болтать, ты бы поел лучше, а то Нина говорит, все назад уносить приходится.

Между тем, Саша Боровиков начал поправляться. Что уж там оказалось главным: или ежедневные переливания крови и белков, или налаженные перевязки, или то, что Виктор сумел вывести его из состояния смертной апатии, или все вместе, но только парень порозовел, щеки начали округляться, появился интерес к жизни

и, хоть избирательней, но аппетит. Перевязки начал переносить гораздо легче, уже не было нужды торопиться, и даже обработку свищевой зоны выдерживал с трудом, но без агональных реакций. И вот когда уже обоим казалось, что все страшное позади, и оба они не сомневались в успехе, произошло несчастье. По вине Виктора произошло. Он тогда, не торопясь удалил тампоны, с азартом любовался на яркие грануляции, убрал налеты фибрина с омололенного средостения и, взяв длинным полостным пинцетом марлевый шарик, начал им удалять гной с бронхиального свища. В это время больной конвульсивно закашлялся, и Виктор, как в трансе, увидел, что шарик, втянутый струёй воздуха, исчезает в бронхиальном дереве. На больного стало страшно смотреть. Выгибаясь всем телом, и глядя на него умоляющими – потом безумными глазами, наливаясь жуткой чернотой стремительного удущья, он метался рвал простыни, сучил ногами, порываясь вскочить, а Виктор понимал: все! угробил человека! и беспомощно толочся от перевязочного столика – туда, к ране, и безнадежно тыкался трясущейся рукой с зажимом в свищ и понимал, что кривизна изгиба бронха единственного легкого не соответствует металлу в руке. И всё! Конец. И вот оно – под почерневшим перикардом агональный трепет сердца и сейчас... Сейчас... и тут он увидел входящего Зобнина и кинулся к нему, и тот, не говоря ни слова, вдруг показал спину и длинными и неторопливыми своими ногами – прочь. И с отчаянием, с надрывом, с закипающими слезами – Евгений Филиппович! А тот даже не обернулся, и он опять к больному, к больному – подыхать вместе с ним, и что-то говорила, говорила, сама не понимая что, и слепо шарила по столику руками в перчатках Маша Корзунина, бестрепетная перевязочная сестра. И тут опять вошел Зобнин, длинный и сосредоточенный, как судьба, и в длинной своей кисти – вытянутый и блестящий, с двойным изгибом зажим понёс прямо к больному, к свищу, и, не торопясь, бросил, нет, швырнул его вместе с добытым из глубины организма шариком на перевязочный стол и, не поворачивая головы, и без всякого выражения, выходя из комнаты, буркнул Виктору: «Ж... с ручкой». И всё.

И вдруг накатила волна яростного, неправдоподобного, непере-

носимого облегчения, такой блаженной раскованности и слабости и, глядя, как розовеет вот только что умиравший человек, и, беспорядочно кидая в плевральную полость тампоны все ещё трясуцимися руками, Виктор вдруг осознал, что вот его оскорбили, и ещё, что правильно оскорбили, что шефу это его замороженное спокойствие, конечно, далось нелегко, и не проходило чувство огромной, почти помрачающей рассудок радости и величайшей любви к нему, к спасителю – шефу.

А Саша Боровиков... Он умер потом. Четыре месяца спустя, после безуспешных и изнурительных повторных пластических операций. Десять лет потребовалось Виктору, чтобы спокойно и без жертв справляться с такими же осложнениями, если они возникали, и с успехом оперировать больных, пришедших с такими же осложнениями от других хирургов, иногда после десяти, а то и пятнадцати выполненных ими безуспешных, а потому и бесполезных операций. Но это будет потом, когда стараниями и напряженными поисками ученых хирургов другим станет и уровень отечественной легочной хирургии.

Вскоре после перехода в новую больницу вокруг шефа началась какая-то подспудная возня. Зобнин всегда был личностью, а уж по требовательности другого такого было поискать. Да и требовательным он был, и беспощадным, в первую очередь, к самому себе. Людишки – а их везде хватает – последнего как раз и не замечали, а ущемить, походя такого вот мелкой души человека – не приведи господь! А с начальством Евгений Филиппович тоже особенно не церемонился, исходя из ложной посылки, что он, де, незаменим. Большинству и правда так казалось: уж слишком много им было сделано, и был он вездесущ и неутомим, и всё контролировал, а хирург и организатор был без скидок блестящий. Для Савича и многих других был он неотразимого обаяния человеком. Ошибки медицинские и прощал, и замечал при случае, а уж халатность, нерадивость, равнодушие – упаси Бог! Страшно вспомнить его разгромные выступления, железно логичные, чуть утрированные, и с хорошей дозой тонирующей гипертрофии. При всём том несправедливым бывал редко, и чтобы извиняться потом, как это другие

делают, этого за ним не было. Но уж всем своим отношением покажет, что переборщил, и уж кто-кто, а Савич зла на него не держал, а если и вспыхивал, случалось, то и отходил быстро.

И вот как-то подходит к нему председатель месткома, маленький человек с незначительным лицом и вкрадчивыми повадками. Ну и вопросы конечно: «как жизнь, как дочка, работа нравится ли». Посчитав, наверное, что все классические каноны тайной дипломатии соблюдены, он заговорил в открытую. Декларация его сводилась к следующему: все устали от деспотизма Зобнина, прямо-таки непереносимого. Скоро открытое партийное собрание, и подготавливается вопрос о снятии его с главных врачей. И не возьмешь, мол, ты на себя – подбросить в этот костерчик пару-другую полешек. Все, мол, будут довольны, а бояться его не надо. По секрету – линия эта сверху, и ничем он тебе не сможет навредить – Евгении Филиппович.

На открытом партийном собрании сразу после отчета главного врача слово взял представитель высших инстанций, сидевший в президиуме:

– Товарищи! В медсанчасти создалась нездоровая обстановка... И пошел, как по писаному, а впрочем, и в самом деле – по бумажке. – Главный врач медсанчасти забыл о том, что такое коллегиальность, игнорирует руководство (горздравотдел), нетерпим к чужому мнению, деспотичен и груб с подчинёнными. Имеется большое количество жалоб, – вытирая лысину и потрясая пачкой бумаг, продолжал он. – В хирургии окружил себя любимчиками... – И он долго еще распространялся о стиле руководства Зобнина, о культе личности в медицине, о необходимости вести принципиальную борьбу с пережитками культа. – И вот мы решили, – заключил он, – поговорить с коллективом о главном враче и о возможности его дальнейшего использования в этом качестве.

Савич – с места тихим и бесцветным голосом:

– Не сочтет ли возможным руководящий товарищ огласить фамилии тех, кто жалуется на главного врача? Ответ:

– Я не считаю возможным оглашать фамилии людей, которые обратились к нам за помощью. Крик из зала:

– Письма-то небось анонимны!? – Шум в зале.

Савич пошел к сцене, бережно неся, захлестывающий его с головой разливанный прилив веселого бешенства. Шел и знал – сейчас получится! Сейчас он им выдаст.

– Глубокоуважаемые коллеги, – начал он, и в зале наступила тишина. Его привыкли слушать, и слушать внимательно. Он знал это. Он умел выступать, и знал это. Он умел заставить слушать себя, и знал это. И независимо от того, с сочувствием или неприязнью относилась к нему аудитория (всяко было), но уж слушать, то слушали, как миленькие – это он умел, и знал это.

– Я хочу взять на себя смелость разобраться в причинах создавшегося положения и попытаться внести ясность в вопросы, которые, несомненно, волнуют всех. Первый и, по-моему, главный: кто заинтересован в уходе главного врача, и кто, напротив, рассматривает такую возможность, как личное несчастье, если хотите – как катастрофу? Я не буду потрясать заслугами Евгения Филипповича, так как в зале нет людей, которые бы нуждались в перечислении таковых. Я намерен заявить, и заявить совершенно категорически, что в уходе главного врача могут быть заинтересованы только бездельники и рвачи от медицины. Все, кто хочет работать, кто в медицине видит не просто источник средств к существованию, но и цель жизни – не могут хотеть этого. Я хотел бы воздать должное ценности, предложенной нам гениально простой схемы деления сотрудников на «любимчиков и нелюбимчиков». Я не затрудняюсь решением, куда отнести себя, так как никогда не забываю о пристрастном, бережном, последовательном и неутомимом воспитании главным врачом из меня хирурга. Кто же станет сомневаться в том, что я – любимчик? Теперь давайте оценим мои преимущества перед другими. Это преимущество работать до потери пульса, в том числе и ночами, и в выходные, и в праздничные дни, преимущество подвергаться заслуженным разносам? – других преимуществ я не знаю. Нашлись люди, которые пишут жалобы на главного врача. Если вы – наши коллеги, то покажите нам ваши лица, назовитесь, чтобы мы знали, от чьих услуг надо держаться подальше, особенно в трудные времена! Я уверен, что вы будете молчать, уйдете в кусты перед

лицом растревоженного вашими стараниями коллектива. Потому что имя анонимкам, которые вы написали и еще напишете – подлость! Потому что именно вы, пишущие начальству и забывающие поставить подписи, никогда не осмеливаетесь возразить Евгению Филипповичу, когда это пристало, когда это достойно. Евгений Филиппович действительно нетерпим к таким людям, как вы, потому что у вас не бывает мнения, потому что вы безличны и неуловимы, потому что вы мелки и трусливы, и вам доставляет наслаждение, хотя бы и исподтишка, но укусить большого и нужного людям человека. А кто же из больных жалуется на Зобнина? – наверное, люди, едущие к нему на операции из нашего областного центра, Сахалина, Камчатки, Иркутска и Мурманска и других городов страны. Я все сказал. Я обращаюсь к вам, Евгений Филиппович, не огорчайтесь. Мы с Вами. Будьте выше нечистоплотной возни вокруг вас и вашего имени.

Савич сбежал со сцены под гром аплодисментов, рев голосов, и пробирался на место, зацелованный на ходу сестрами, и кому-то жал руки, и улыбался криво, как будто одеревеневшим, маскообразным, перекошенным и страшным лицом. Перед закрытием собрания выступил Зобнин. Был он непохож на себя – запинался речью, и таким его Савич никогда не видел. Но в одном он был непреклонен: главным врачом он больше не останется. Ни при каких обстоятельствах. Все. С него хватит.

Поздно вечером как-то принесло Зою Рабкину – «забежала на огонёк». Виктор был на дежурстве: маялся с больным после одномоментной двусторонней резекции легких, сделанной к тому же впервые, и тут Зоя с Лидкой отвели душу – поговорили откровенно, по-бабски, как это и умеют под настроение одни только женщины, чаще совсем и не обязательно симпатизирующие друг другу – вот разговорились, и пошла и интимщина, и всё подряд. Зоинька разошлась, достала из сумки бутылку контрабандного «Чхавери», и...:

– А тебе к лицу «Чхавери», Лидка, а тебе к лицу! – И пошла про уход Зобнина, цинично, умно, с перчиком, как только она одна и умела, и, всласть затягиваясь красивой, с фильтром, импортной сигаретой, понеслась перемывать косточки и своим близким, и го-

родским властям: Надо же, такая подлость! И Башкатов – Дуб ведь! Убожество! Поразительно мелконький человек! И попомни мое слово – недолго он будет торжествовать победу над Зобниным, ох, недолго!

А потом заговорили о Викторе, и это, кажется, была единственная тема, в которой Зоинька обнаруживала явные элементы экзальтации, и, с прищуром, коварненько посматривая на Лиду:

– Не ценишь ты его, Лидуха, нет, не ценишь!

И тут Лидка отвела душу:

– Да ты его просто не знаешь! Ты и представить себе не можешь, какой он тяжелый человек. И ничего он не умеет делать спокойно и умеренно, как все. Нет, ему надо вложиться, отдаться полностью, без остатка. Ему, видишь ли, надо гореть, и бог знает на сколько его хватит. А к себе равнодушен удивительно, будто у него ни семьи, ни ребенка. Он же житейски абсолютно беспомощен, почти нежизнеспособен. Не всунешь в рот куска – неделю будет голодный ходить. А для дома ну ничего не сделает, зато чужому человеку постороннему последнее готов отдать, душу наизнанку вывернуть.

А ты думаешь, такое уж большое счастье жить с больным, хронически больным человеком... Зоя слушала, посмеивалась, медленно пускала к потолку колечки дыма:

– Нет, не ценишь ты его, Лидуха, не ценишь...

Лидка подсадовала потом: мужа с посторонними бабами обсуждать начала. Вот ведь незадача.

С приходом нового главного врача для хирургов мало что изменилось. Зобнин остался ведущим хирургом, и отдался организации хирургической службы города безраздельно. Легочные операции стали выполняться чаще. Выписались трое больных после благополучного удаления доли лёгкого, спокойно перенесла удаление правого легкого и поправилась молодая женщина, и, наконец, с триумфом демонстрировали приезжему профессору больную с пищеводно-желудочным анастомозом, выполненным в глубине плевральной полости – рак. И всё время вставали новые проблемы, которые надо было решать. После перевода медсанчасти в новый корпус, службы, представленные считанными койками, преврати-

лись в отделения. Возникло отделение грудной хирургии на пятьдесят коек, и Савич стал официальным его заведующим. В больничном дворе выросло второе здание – онкологический диспансер, и приезжали новые врачи, и расширялись вспомогательные службы, и по утрам на врачебных конференциях рассматривались десятки больных, подготовленных к оперативным вмешательствам.

Савич заболел. Начали сказываться нервные перегрузки, хроническое недосыпание – зачастили-посыпались пневмонии одна за другой. Чаще всего он перемогался, переносил на ногах очередную атаку болезни, продолжая и ходить на работу, и дежурить, и оперировать. А тут вдруг слёг по-настоящему. И вот он уже вторую неделю лежит, и тяжело, и болезненно воспринимает и свою бездеятельность, и что там, и как там без него на работе? Ну а если уж откровенно – то и обидно малость, вот ведь, приветов куча; а никто ведь не зайдёт навестить! Лида, приходя домой, приносила вороха новостей, старалась, как могла держать его в курсе всех дел, а тут вдруг взяла и, помявшись малость, бухнула: «Сегодня Евгений Филиппович оперировал Вялова – он на столе умер».

На следующий день к вечеру пришёл Зобнин. Смущенный и счастливый, Виктор бодрился, смотрел на шефа влюбленными глазами, суетился, спрашивал, отвечал.

– Вялов умер, – негромко, с милой своей картавостью, говорил шеф – от асфиксии. Наркоз, как всегда, давали Лариса с Фофановым, а во время операции левое здоровое легкое затопило гноем из больного. Сейчас они валят вину друг на друга, совершенно откровенно. Ларочка в истерике, а как выяснилось, во время наркоза даже электроотсоса не применяли. И... Виктор Петрович, я хочу быть с вами совершенно откровенным, как искренний ваш доброжелатель, как друг, если хотите! Я два года присматриваюсь к вам, светлая у вас голова, но руки!..! – Шеф соблезнующе развел выразительно руками, покачал головой. – Большого хирурга из вас не получится. А не вам быть середнячком, троечником в хирургии, сейчас в центральных клиниках происходит становление анестезиологии как самостоятельной дисциплины. Я убеждён, что с вашими способностями вы на этом пути добьётесь многого. Соглашайтесь, Виктор Петрович!

Виктор слушал ошеломлённо. Слушал и не мог совладать с мимикой, кривились губы, лицо. – Значит всё. Это приговор. Как же он может так бестактно. Ведь он болен. Уж не мог подождать неделю со своими откровениями.

В этот вечер Зобнин ушёл ни с чем. И сразу после его ухода на Савича обрушилась Лида:

– Ну, знаешь, это уже всякие границы переходит! Твой обожаемый шеф видит, что ты ему в рот смотришь, и уже и на голову залезть готов. Отблагодарил называется – ничего себе! Да ты около его больных в сто раз больше, чем около своих собственных убиваешься. Нет, подумать только какой бессовестный! Вот уж действительно, чем больше для человека делаешь, тем он наглее.

– Да брось, ты, Лидуха, ведь я у него учусь, а не он у меня.

– Он у тебя тоже может поучиться кое-чему, хотя бы порядочности, да и глупости заодно. Не смей соглашаться! Слышишь? С твоей настойчивостью ты станешь прекрасным хирургом. Станешь, станешь, станешь...

Лида знала, что Савич был из числа людей, которые до конца дней остаются детьми во многих своих проявлениях, с так присущими детям категоричностью суждений и абсолютной идиосинкразией ко всякой несправедливости, в любой форме и в любом качестве. Он и привязанностям отдавался, как ребенок, и не хотел видеть недостатков своих кумиров, пока не обнаруживал себя обворованным, а перебалывал это в себе по-детски остро и страдал безмерно. И этот своеобразный инфантилизм порождал в нем атмосферу полудетской лучезарности до тех пор, пока не наступала пора бунтовать. А мир не был совершенным, и поводов для бунта хватало. А при цепной реакции взрыва детских страстей чаще всего попадало и по своим, и уж чего-чего, а Лида сыта этим была по горло. А его чуть ли не патологическая застенчивость, извечные сомнения в себе, своих силах. И всё это она знала и пыталась его переделать, защитить, придать ребенку хоть видимость жизнеспособности среди взрослых людей в реальном, а не выдуманном мире, и жестком, и трудном, и уж нисколько не сентиментальном. И просто руки опускались – всё зря!

Савич:

– Евгений Филиппович, порывать с хирургией я отказываюсь. Я готов попробовать взять на себя и анестезиологию, но при условии, что паллиативная хирургия легких останется моей, и в прочих операциях вы по-прежнему ущемлять меня не будете.

– Так это значит, что физическая нагрузка возрастет на вас вдвое. Ну хорошо, Виктор Петрович, давайте попробуем.

Он ошибся, шеф. Нагрузка возросла вдвое больше, чем вдвое.

Началось чтение литературы, и наркозы, наркозы, и выхаживание больных, освоение техники интубации трахеи, и поэтому многие масочные наркозы превратились в интубационные после того, как больной уснул и вошел в глубокую стадию хирургического наркоза. И робкие поначалу переводы больного на принудительную вентиляцию с исключением самостоятельного дыхания, по мере накопления опыта, осуществлялись всё чаще и чаще. И всё больше делал Зобнин радикальных легочных операций, стало заметно уменьшаться число осложнений, и выживали очень тяжелые больные, и всё чаще и чаще хирурги стали просить наркоза при операциях, которые раньше проходили только под местной анестезией, и Савич все глубже увязал в анестезиологии, но не проходила страсть к самостоятельным операциям. И потом жизнь не раз ставила его перед необходимостью сделать выбор, и если хирургия одержала верх, то, наверное, только за счет инерции первой любви, любви окропленной кровью. И сколько раз знания в анестезиологии помогали ему выходить из, казалось, безвыходных ситуаций, и только благодаря анестезиологии он стал тем, кем стал.

Компанию принесло всю сразу и единым ветром. Все выпускники одного института. Все распределились в К-ск. Все на пять лет моложе Савича. Славные они были ребята, и кроме профессии связывало их еще и внутреннее единение духовное, существо которого трудно, а, может быть, и невозможно было определить. Была у компании и «душа» – Вадька Ялов, длинный, нескладный, чем-то даже нелепый парень, феноменально некрасивый, с огромными оттопыренными ушами, рыжей редеющей челкой и неистощимым фонтанирующим жизнелюбием. Хватало любого пустяка, чтобы,

загоревшись мгновенно, начал он с вдохновением фантазировать, ставя и себя и окружающих в удивительной нелепости положения, смешные и чем-то даже трогательные. «Вот Васильич становится академиком маститым, признанным и склеротичным. Вадька приходит к нему напомнить о годах молодости и дружбы, и:

– Да, да, дорогой, давно вас жду! Просто замучились с этой канализацией! Что? Нет?

– Да я же Вадим. Вадька Ялов!..

– И слышать не хочу! И никакой вы мне не сын, и тем более не дядя! Что? Нет? А... Да-да, простите, коллега! Конечно, помню – конференция в Бостоне... Что, нет?

– Да нет же!..

– А, да, совсем запамятовал. Со статьей вашей ознакомился. Есть замечания. Теоретические ваши посылки...»

Компания охотно включалась в игру – реплики, шутки, смех. Любили его еще и за удивительную его житейскую беспомощность и чистоту. Рос он медленно. Долго не мог преодолеть душевной робости и нерешительности. А потом стал приличным хирургом.

А красивый и медлительный крепыш Васильич пошел по хирургии стремительно, как крейсер, и знал много с первых шагов, и все удавалось ему и ладилось, и мыслить умел не по шаблону, и проникал, казалось, в самое существо патологического процесса, и это в нем чувствовалось сразу, как будто он родился со всеми навыками врача-хирурга, и все это принес с собой, развивая и совершенствуя в практике. И в нем это все чувствовали, и не могли не считаться, и уважали как «большого». И поэтому в Вадькиных экскурсах в будущее, с предвидением академических высот для Васильича шутка лежала на поверхности – все верили, что будет он академиком. А он потом спился, потерял контроль над собой, и очень скоро уже прозябать начал в деревенской больничке, да и там держался только потому, что негде было взять другого, не пьяницу. А пока Васильич перехватил у Виктора инициативу в анестезиологии и реанимации, и лез, жадничая, дальше, и Виктор был рад этому, потому что было много легочных операций, и его на все не хватало, и Васильич дал ему возможность спокойно заниматься своим делом и осваивать

новые и новые вмешательства на легких. И многих привлекало безыскусственное веселье компании, и то, что у них интересно, а другой молодежи в больнице стало полно, и все время ощущалась тенденция со стороны увеличить компанию на одного, а то и двух человек, но тесный кружок умел в таких случаях плотнее соприкасаться плечами, и раздвинуть их, оторвать друг от друга становилось невозможно. И все было просто, и ясно, и здорово. Это потом появились всякие сложности. Вадыка тихо и безнадежно влюбился в красивую Альку Коневу, а его жена Рая развлекалась с кем-то из шоферов. Тихая Ленка Вейн заобожала Савича, а Лидка Потапова, пышнотелая густоволосая рубенсовская красавица, чуть не наяву грезила Васильичем, а сама избегала с трудом тайных домоганий Фофанова. А потом все рассыпалось – все стали разъезжаться, и первым уехал Савич.

Компашка собралась за грибами и пестрой группой, в ковбойках, спортивных костюмах, разномастных цветных платьях с корзинами прошли по узким мосткам через речку, потом парком вышли в лес и рассыпались, растерялись, и только: Ау, девочки!– и, – Ой, подосиновичов сколько! Потом они перебрались через насыпь железной дороги, и лес стал гуще, Виктор уходил всё дальше от компании

и скоро перестал слышать справа от себя медвежий треск валежника, сопенье и недовольные чертыхания Васильича. А потом он, пораженный, остановился и застыл не дыша, и смотрел, и не мог поверить глазам своим: у старого пня, почти прилепившись к нему, царственно развалясь под черной по краям невероятно тяжелой коричневой шляпой, стоял гигантский боровик, чудо с короткой ножкой, толщиной в бедро, весь в стеклянных каплях росы, и сразу за пнём – еще три, поменьше. Он встал на колени и срезал их дрожащими от азарта руками, и корзина сразу стала ощутимо тяжелой. И он повернул назад и, наискось, чтобы не идти по своему следу, зашагал к железной дороге, и, наклоняясь, резал красные плотные подосиновички, и опять белые, и еще, и еще.

Он вышел к железной дороге, и увидел Васильича, уныло сидящего на сваленных в стороне шпалах и одетого совсем не по сезону – пиджак, свитер и красное распаренное лицо его, и еловую

ветку, которой он безнадежно отмахивался от комаров. И рядом – свалившуюся на бок, пустую корзину. Из-под круглых очков с толстыми линзами смотрели добрые и честные Юлькины глаза. Уроженец приволжских степей, он откровенно не любил леса да просто не понимал, как его вообще можно любить, страдал во время таких походов безмерно, и все добродушное подтрунивание и насмешки компании монополю и, не обижаясь, забирал себе. Все комары считали свои долгом отведать именно Васильича, с восхитительной наглостью игнорируя другие возможные объекты своего внимания. И он мучился, и жаловался откровенно, как ребенок, и все начинали его жалеть.

– Ну ты чего, Юлик, загрустил? – сказал Савич, подходя и усаживаясь рядом. И они закурили, а потом и выпили по стакану вермута из фляжки Савича, и Васильич немного повеселел, и начал как всегда бранить и лес, и грибы, и комаров, и всю эту гнусную затею, направленную против него лично. Виктор слушал, посмеивался, а потом спросил:

– А где компашка? Васильич неопределенно махнул рукой в ту сторону, откуда пришёл Савич, они прислушались и не услышали голосов, и тогда Виктор сказал:

– Вот что, Юльк, забирай мои грибы – скажем, что ты сам насобирали, а я ещё рейс сделаю.

– Ну ее! – горько скривился Васильич, – я лучше домой пойду.

– Да ты что, Юль? Да брось ты! Подожди наших, они скоро придут. Ты веди-ка их вон на ту поляну за соснами. Там отдохнём, выпьем, побазарим малость, а корзина твоя всех убьёт, вот посмотришь!

Васильич отмолчался, и Виктор направился в свой заповедник и довольно быстро набрал опять полную корзину, только красавцев таких, как тот боровик, больше не было. Он вышел на тропу, и она была короткой, как северо-уральское лето, и вывела его к железной дороге, и он пересёк её, и вскоре услышал голоса и смех, а потом песню, которую компания называла своим гимном, и пела, похулиганивая малость, но с азартом, и даже на разные голоса. «...Как у нас, голова бесшабашная, застрелился чужой человек...»

Виктор смотрел из-за кустов на резвящуюся братию, и просыпалось в нем какое-то доброе и чуть щемящее чувство, и знал он, что любит их всех, чертей, и многим им обязан; он как-то оттаял, подобрел с ними и дорожил этим неожиданным подарком судьбы. Потом он стряхнул сентименты и вышел на поляну, и встретили его смехом и шутками и Лида (жена), приподнявшись на локте и улыбаясь, смотрела на него. А Алька подбежала смотреть улов, и ...

– Ну ничего! Но у Васильча-то, у Васильича посмотрите! – И он подошел к корзине Васильича, и удивился довольно натурально, А Томка, Юлькина жена, воинственно потрясала невиданным боровиком и Вадька, надсаживаясь, орал:

– Ура! – и, – Качнем его, мужички! А Васильич сидел, как именинник, как надменный туземный царёк, и по-царски равнодушно принимал поклонение и почести.

– Что же ты с ним, Васильич, с таким грибом, делать будешь? – спросила тихонькая мышка Ленка.

– Мариновать, – солидно протянула Тамара, Юлькина жена.

– Да я его, гада, белую контру, лучше в куски изрублю! На суп! – Вытаскивая немецкий тесак, дурашливо заорал Вадька и комично завращал вытаращенными глазами.

– Суп! Суп! – Подхватили все. Вечером у Савича объедались грибным супом, сваренным в ведерной кастрюле, а потом пели и танцевали под проигрыватель, и Виктор читал «Анну Снегину», а потом гуляли по ночному городу, и все любили друг друга, и это было прекрасно, и, казалось, молодости не будет конца.

Савич вернулся на работу после четырехмесячной специализации по анестезиологии в Москве. Это был один из первых циклов в стране, и всё было новым и захватывающе интересным. После первых приветствий, поцелуев, вопросов Власова повела смотреть больную с непонятной посленаркозной желтухой. Её неделю назад оперировал Зобнин, в связи с повторным патологическим переломом бедра. Наркоз давала Валя Трубина, а вскоре после операции развилась желтуха.

Назарова Елена Ивановна, преподаватель литературы в школе,

тридцать четыре года. Приехала на операцию из Новосибирска, прослышав о блестящем уральском хирурге. В Новосибирске её оперировали дважды, и оба раза переломы рецидивировали. Больная вялая, сонливая. Желтуха не выражена. Имеются небольшие отёки.

– Валентина Григорьевна, а какое у неё давление?

– Была небольшая гипотония, сейчас нормальное. Померили, оказалось 175 на 100.

– Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, как вы мочитесь?

– Я уже несколько дней совсем не мочусь. Тонкой резиновой трубкой попытались вывести мочу. Получили несколько капель жидкости, похожей на разложившуюся кровь.

В ординаторской: – Валь, сколько ты ей крови перелила?

– Шестьсот миллилитров.

– Во время наркоза?

– Да.

– Реакция была?

– Нет.

– Группа крови? Резус?

– Группа третья, резус положительная.

Проверили. Получилась отрицательная. Определили остаточный азот, мочевины. Цифры получились страшные – соответственно: 520 и 235!

– Это катастрофа, – сказал Савич. – Это полная блокада, скорее всего, гибель почек после переливания несовместимой по резусу крови. Больная обречена. Просто не верится, что с такими показателями остаточного азота она еще в сознании.

Валя Трубина сидела с помертвевшим лицом, с застывшей приклеенной к нему улыбкой.

– Что ты предлагаешь? – спросила Волкова у Савича, даря Валентине один из своих испепеляющих взглядов.

– Что тут предложишь, – сказал Савич, – паранефральные блокады, спинномозговую анестезию, промывание мочеточников, ну и коррекцию, допустимую в наших условиях.

– Валентина Григорьевна, – официально, на повышающихся то-

нах голосом, заговорила Волкова, – Потрудитесь объяснить, как это всё могло случиться?

– Я не знаю, Зинаида Ивановна, – забормотала Валька, – я всё делала и резус определяла, и группу...

Фофанов произвел промывание почечных лоханок. Почки молчали. Собрали срочный консилиум. Он проходил удручающе вяло. Задавались вопросы, ответы на которые ничего не могли изменить. Все понимали – больная обречена.

– Можно попробовать декапсуляцию почек, – сказал Фофанов. – Только это ведь большая операция. С такими показателями она её не перенесёт, если бы раньше хватились...

– В Москве, – вспомнил Савич, – нам говорили мельком об эффективности перитонеального диализа. В одном случае, при показателях, близких к нашим, получен полный эффект, и больной поправился. Было это, кажется, в клинике Перельмана. Дело в том, – продолжал он, увлекаясь, – что брюшина представляет собой огромную капиллярную поверхность. Поэтому при её промывании накопившиеся в сосудистом русле отходы, которые в норме удаляются почками, начинают пропотевать в брюшную полость и уносятся с током жидкости. Это принцип. Деталей я не знаю. Состав диализирующей жидкости нам не давали. Но мне кажется, что в подобных условиях у нас есть право провести больной диализ. Это единственный реальный шанс.

– Это самодеятельность, – сказала Волкова. – Ты сам говоришь, что состава жидкости не знаешь. Давайте подождем Евгения Филипповича. Он приедет послезавтра.

– Да, Зинаида Ивановна, – сказал Савич, – за разницу в миллиэквивалентах нас не повесят. Возьмем любой раствор, наиболее близкий к гомеостатическим стандартам. Хотя бы Рингер!..

– Правильно, – сказал Фофанов, – как уролог, я согласен с тем, что вмешательство обосновано. Возможные погрешности нас не должны смущать. Важен принцип. А отклонения от разработанных и неизвестных нам методик в такой ситуации оправданы. И для больной это последний, хотя и сомнительный шанс, поэтому дожидаться благословения Зобнина не следует.

– А я абсолютно убеждён, – сказал Савич, – что Евгений Филиппович дал бы свое «добро»! А что по этому поводу скажет «именинница»? А, Валь?

– Зинаида Ивановна, – сказала Трубина и заплакала и, сквозь всхлипывания, размазывая краску с ресниц, губ, задыхаясь, к ней, к начальнице, к хозяйке положения: – Зин! Ну, Зинаида Ивановна, Зиночка! Ну попробуем, ведь она умирает!.. Ведь что же я-то!..

– Прекратите истерику, – крикнула Волкова, – надо научиться не только пакостить, но и отвечать за свои поступки, доктор Трубина!

(Ну и баба! – подумал Савич. – Скала! Монумент! А ведь лучшие же подруги. Неужели не понимает, как ей сейчас тяжело. Канаты не нервы!)

Власова согласия на перитонеальный диализ не дала. К концу дня приехала консультант областной станции переливания крови.

– Наркозная карта, гемотрансфузионный анамнез и сама трансфузия крови оформлены крайне небрежно, – констатировала она. – Больная – жертва халатности врача Трубиной. Шансов на выздоровление, на мой взгляд, нет. Я советую вам, Валентина Григорьевна, хорошо подготовиться к объяснениям со следователем, и уж, как минимум, к аппаратному совещанию в облздравотделе.

– Ну а что же делать-то, Елена Петровна? – спросил Савич. – Декапсуляция? Если и целесообразна, то только в плане юридическом.

– Мне импонирует ваше предложение, Виктор Петрович. Я ничего не слышала об этом методе, но думаю, что это единственная реальная заявка на какие-то шансы для больной. Очень жаль, что пришлось познакомиться с вашей замечательной больницей при таких неприятных для всех обстоятельствах.

– Елена Петровна, – сказал Савич, – не согласитесь ли вы вместе с нами обосновать официально показания к внутрибрюшному промыванию.

– С удовольствием, Виктор Петрович, но какая в этом необходимость? Это акт отчаяния, и вы это отлично сделаете и без меня.

– Да, это может быть и так, но ведь Зинаида Ивановна возражает без вашей официальной санкции.

– Ну, санкций таких давать я не могу, а согласиться с вами письменно? что ж, пожалуйста!

И Волкова вынуждена была уступить. Еще через полчаса в животе больной стояли две резиновые трубки. Через одну из них непрерывно, частыми каплями, поступала диализирующая жидкость, через другую жидкость оттекала в таз. Утром началось ликование. Показатели загрязненности крови шлаками улучшились вдвое, а анализ жидкости, вытекающей из брюшной полости, показал значительное содержание шлаков, появилась низкой концентрации, пусть в небольших количествах, моча. Присоединили постоянные обменные переливания совместимой крови. Через двенадцать дней больная была вне опасности.

Все это время Савич, оттеснив Вальку, не отходил от больной. Сидел день и ночь, отмечал малейшие изменения в состоянии, волновался, психовал. И, о, эти мучительные переходы от надежд к отчаянию, с замиранием сердца, с заклинаниями, с запредельным напряжением десятисуточной драки, с короткими провалами в сон, с бесконечным вышагиванием по коридору, длинному, как зимняя ночь без женщины. И опять, туда – к больной, и опять давление, и как анализы, и нет ли хрипов в легких, и курить, курить... И самое странное, что потом, когда все страсти оставались позади, отпылав, выдоив, выжав на невероятном эмоциональном накале, лишив эмоций, он, одержав очередную победу, терял возможность радоваться ей, и имя этому была «опустошенность, эмоциональная и физическая атрофия». Паралич чувств, надежд, жизнелюбия. Удовлетворение работой? – химера. Просто муки профессии, которая зовется хирургией. А больная, встречая его в коридоре, буквально вешалась ему на шею. И двигала ею эйфория человека, прекрасно понимающего, что вот провисел на тонюсенькой ниточке и не сорвался, и знающего, чьей волей провисел и не сорвался, и кому обязан спасением. И как это ему было не нужно, и как он и тогда, и потом стремился уйти от изъяснения чувств, от тягостных объяснений с благодарностями и признательностью, от выставляемых напоказ эмоций. В одном он был абсолютно уверен: «Ну хорошо. На свете полно героических профессий. И лавры, и словословия, и ор-

дена – все это кому-то нужно – пусть людям воздастся по заслугам. Пусть. Но хирургам при их непреложной обязанности – вот так вот держать в руках жизнь (а иначе ты не хирург) после таких баталий можно подарить, доверить наконец бесконтрольное официальное право – пять–десять–пятнадцать дней поваляться на траве, ни о чем не думать, смотреть в небо, не ходить на работу, пить водку наконец (все зависит от потребностей), и получать при этом свою зарплату, ту же самую зарплату, которая достается врачам других специальностей, да хотя бы и всех прочих, ценой затрат неизмеримо меньших. Потому что нельзя же уже на другой день включаться в тот же самый неостановимый круговорот без необратимых повреждений собственного здоровья. Нельзя! Никаких сил не хватит». И в этом была правда. И правда была в том, что на пороге его тридцати сил хватало. И уже на другой день все начиналось сначала, с фатальностью, которую упразднить мог только один уход из хирургии. Куда угодно – в терапию, фтизиатрию наконец. Но только уход. Уход и только.

Ведущий хирург медсанчасти Евгений Филиппович Зобнин, – рафинированный джентльмен, хирург божьей милости, иезуит, виртуоз, умница – в привычном для всех ритме переставлял длинные свои ходули длинными коридорами хирургических отделений, и няни – оторви да выбрось! – по неведомому наитию, вдруг подняв глаза и бормотнув что-то, быть может, даже: «Свят! Свят!»; начинали остервенело шаркать швабрами по зеркальному линолеуму и, впереди вспышек испуганного своего шепота, разбегались по палатам, процедурным и перевязочным беззаветные трудяги-сестры. И шепот этот обгонял целеустремлённый полёт необъяснимых, мистически страшных настигающих штиблет, и вся эта жутко шуршащая телепатия проникала в ординаторские, и одних уносила бог знает куда – только бы успеть и только бы подальше! – а других пригибала к историям болезни и, неотвратимая, неслась эта стихия шепотов, скрежетов прозрений, поражала воображение и авторучки и, достигая апофеоза, оставляла в дневниках фразы и каракули, над которыми могли бы долго и безуспешно морщить прославленные лбы лучшие графологи и криминалисты планеты.

Вот так он и шел, и ничего не видел, и все замечал. А искал Савича, и в настроении был самым благодушным.

– Виктор Петрович, – прокартавил он, и комично шевельнул своей левой немислимой бандитской бровью. – Виктор Петрович, по-моему, вам не мешает... Развеяться, – любясь впечатлением точно рассчитанной паузы, заключил шеф. – А пойдете-ка ко мне, вот подкожные деньги шевелятся. Житья не дают. Выпьем пару бутылок вина, да и потолкуем по душам, если получится. Как вы?

И они пошли в двенадцать часов пополудни по раскалённому асфальту города – шеф и Савич, только что не приплясывающий от гордости. – Еще бы! Остальные вкалывают, гнутя, а он (и с кем? с самим шефом!) в будни, среди бела дня, идет к нему пить вино и беседовать. – С ума сойти!

– Я сегодня ночь провёл в В-ске (соседний городок), – сказал Зобнин, –язвенное кровотечение очень тяжелое. А тут приезжает их касир и – распишитесь! Сто восемьдесят целковых по табелю. Ну я и решил поразвлечься – устал, грешен! И они зашли в гастроном, взяли два раза по «три семёрки» и колбасы, и конфет, и развалились в креслах вокруг журнального столика – и бутылки, и сигареты (а шеф не курит!), и шахматы, а это ненадолго, потому что какой уж там Савич игрок?

– Так вы, Виктор Петрович, думаете, что это ваш диализ вызволил больную, – начал шеф, поднимая кверху в одной из своих ехидновато-жалящих улыбок заостренные уголки губ.

– Конечно, Евгений Филиппович, – наивно возразил Савич, приготовившись с жаром излагать всё, что уже излагалось неоднократно.

– Бросьте, Виктор Петрович, это мои обменные переливания крови сработали, – отрезал Зобнин, и уже откровенно, молодо и азартно расхохотался и, сквозь приступы смеха, постепенно становясь собранным и серьезным, озадаченному Савичу:

– Вашей страстностью и вашей беспрецедентной стойкостью она спасена, Виктор Петрович! Когда я на вас смотрю, то начинаю верить во всю эту чепуху – оживления, массажи сердца!..

И вот тут-то Савич разошёлся и выложил – и реанимация, и палаты интенсивной терапии, и всё это надо, и иначе нельзя. Начинается новая эпоха в медицине, и нам нельзя плестись в хвосте

событий. А на триста пятьдесят хирургических коек один анестезиолог – это же смешно! Надо готовить еще людей, и ставить дело на широкую ногу – по государственному. И давайте молодёжь начнём приобщать к решению этих проблем и учить их на месте. И в этом, и только в этом залог успеха!

Шеф слушал, подсмеивался иногда, кивал головой, пошучивал, а потом сказал:

– Ладно. Молодых в анестезиологию двигать будем. Начинайте готовить шесть человек. Лекции два раза в неделю. Ну а уж практика без ограничений и целиком под вашу ответственность. Воздушных замков строить не надо, а палату для ведения больных после лёгочных и пищеводных операций выделю койки на четыре и два сестринских поста дам. Действуйте, Виктор Петрович!

Вот с этого и началась теория и практика анестезиологии для компашки. Учиться стали и Васильич, и Вадим, и Алька Конева с Ленкой Вейн, и двое других молодых специалистов. И реанимационные бредни осуществились гораздо раньше, чем этого можно было ждать.

Как-то Зобнин оперировал рак желудка, а наркоз давал Вадька и, вероятно, вместо трахеи вставил трубку в пищевод (бывают у начинающих такие ошибки!). Зобнин вскрыл живот, убедился, что из разреза кровь не течет, хмыкнул растерянно и вдруг обнаружил, что и крупные сосуды живота не пульсируют.

– Больной-то мертвый... – сказал он. И – Где Савич?! – Рывкнул. И: – ... С вашей анестезиологией!!!

А Савич нашелся мгновенно и среагировал мгновенно – выдернул трубку, поставил ее как положено и Зобнину:

Евгений Филлипович, массаж сердца через диафрагму! – И умоляюще – Быстрее! И – наркозной сестре:

– Кубик адреналина внутривенно! И вентилировать, вентилировать чистым кислородом. И двигала мгновенность интуитивных озарений, почти вдохновение. И сердце заработало. И порозовел больной. И скорректировался без труда сердечный ритм, и операция была завершена, и больной проснулся, и жил потом долго. И из всех отделений паломничали на него смотреть врачи и сестры,

потому что это был первый больной в медсанчасти, который побывал на том свете и возвратился, и ничего не мог рассказать о том, как, мол, там, и была во всём этом и острога настоящего свершения, и триумф, и тревожное ожидание скорых перемен во всем укладе хирургической жизни стационара. Но совсем скоро привыкли и к оживлениям, и к массажам сердца, и не все оживлялись, далеко не все, и уже очень скоро перестали удивляться успехам, и стало это всё и будничным, и привычным – работа и работа, и всё тут!

Но за первым случаем не преминул последовать и второй. Зобнин оперировал шестидесятидвухлетнего мужичка, с тяжелыми руками работяги и иссохшим лицом, на котором только и остались, что страдающие, больные тихой тоской глаза. Рак правого легкого, и запущенный рак, как говорится «на грани операбельности». Ну, удаление лёгкого у Зобнина прошло, как всегда – блеск! А через восемь часов после операции внезапно произошла остановка дыхания, и за Савичем прибежала Нина Лыкова, наркозная сестра. И от куда-то, как всегда, набежали еще сестры. И Савич понял: остановка сердца. Чего же еще, если и на бедренной артерии пульса нет? И заинтубировал больного сразу, и бросил кому-то мешок наркозного аппарата: Дыши! – и начал не прямой массаж сердца, а сам Нинке:

– Кровь в артерию! Быстро!

А Нинка... И ведь были же сестры – звери, зубры, профессора!! А она-то маленькая, рыженькая и из себя невидная, и сразу после медучилища к Савичу! Ни стажа, ни опыта, и маленький замкнутый свой мирок, куда никого не пускала, а уж гонору и независимости – край! Но зато уж реакции и трудолюбия, и преданности медицине на целый выпуск сестер хватило бы. И ведь понимала, чувствовала, когда все медицинские каноны надо железно соблюдать, а когда секунды решают, и тут уж по боку формальности, и без всяких определений группы крови, совместимости – системы, ампулы – вот они! А Савич – скальпель в руки, и бедренная артерия обнажена, и кровь в неё – струйно, под давлением, и вот уже больной, расталкивая сестер, садится на постели и рвет трубку из трахеи, и всё!

А на следующий день, когда Савич отчитывался за дежурство, Зобнин только глянул на него из-под мохнатых своих бровищ зве-

ровато и остро глянул... и ничего не сказал. Ничего. А через несколько дней состоялась патологоанатомическая конференция. Разбирали больного, умершего в терапии от воспаления лёгких, а Савича вдруг остро и неуправляемо понесло:

– Так нельзя лечить. Это уровень сороковых годов. А мои задачи скромны предельно. Я считаю своим долгом напомнить, что сейчас одна тысяча девятьсот шестидесятый. Пенициллин в ягодицу, камфору подкожно, а он, негодник, не послушался и умер? Нашим уважаемым коллегам, видимо, неизвестно, что в больнице складывается реанимационная служба, и мы обязаны, хотим мы этого или не хотим, пользоваться всеми достижениями современной медицины. И он, больной, должен был последовательно пройти все этапы, включая и трахеотомию (горлосечение!), и принудительную вентиляцию до управляемой гипотонии в последней инстанции – при отеке легкого, если бы всё это не помогло! И вот тут-то и началась буря. Да если бы не чинная обстановка конференции, его бы, наверное, и за волосы охотно бы потаскали от избытка азарта и переливающейся через край и наконец нашедшей выход хронической неприязни. Но тут поднялся Зобнин во весь свой патологически высокий рост и загремел, что Савич абсолютно прав. И это демонстративная борьба нового со старым. И если коллеги не хотят признавать новых веяний, то пора вмешаться администрации и закончить эту полемику чисто административными мерами. И уже на следующем дежурстве Савича дежурный терапевт, злорадствуя, вынул его, бедняжечку, прямо из постели, а он только и успел прикорнуть! И под белы ручки повел его, злого и вострапанного бедолагу, тепленького еще повел! – выводить больную из астматического состояния:

– Умирает она, Виктор Петрович, ничего не могу сделать! – и подхихикивал тихонько в уголке, но не так уж и долго подхихикивал, потому что после импровизированных произвольных манипуляций Савича со шприцами и новокаиновой блокады в придачу, синюшная, чуть ли не сутки задыхающаяся женщина, все же успела пробормотать сакраментальное: «Спасибо доктор!» Да и отправилась смотреть грустные свои сны чуть ли не на двое суток.

На пороге своего пятидесятилетия, в кабинете своего дома, удоб-

но примостившись в кресле у журнального столика, сидел Зобнин и с аккуратностью целеустремлённого и организованного во всём человека подводил итоги своих пятидесяти. Институт. Занятия в хирургическом кружке. А от него многого ждали, и на первую его самостоятельную операцию сбежалась вся кафедра. А он ее сделал спокойно и здорово, как зрелый мастер, и тогда о нём заговорили как о хирурге, многие заговорили. И он упорно себя готовил к хирургии. Потом шесть лет работы – самостоятельной работы, и фронт... Четырёхлетний ад с бомбежками, окружениями и полным забвением себя – и только работа, и не было равных ему и по выносливости, и по искусству оперировать среди коллег. Потом демобилизация и К-ск. Деревянный барак, с которого всё начиналось. И вот она – красавица больница. Его больница. Он её выстрадал, отстоял до последнего кирпичика. А коллектив хирургов, большой и прекрасный, в сущности, коллектив, прочно несущий в себе – и теперь уже навсегда – его принципы современные, честные, трезвые. И пусть это громко для районного города, но здесь сложившаяся, совершенно своеобразная школа, именно школа, и он её руководитель. А больные, которые едут буквально отовсюду – это ведь тоже о чем-то говорит!

Многие от него ждали большего. Подумаешь – ведущий хирург заштатного городка на Урале! Ждали, что станет профессором, академиком, и кто знает, как сложилась бы жизнь, если бы не фронт! Ученым не стал. И даже статьи ни одной не опубликовали в журналах, несколько раз посылал – пытался все же – в центральные журналы свою практическую науку. Не приняли. Тот же Осколкин Анатолий и студент был посредственный, и человечешко так себе, а вот профессор, хирург, где-то в Сибири кафедрой заведует, а его, Зобнина, с главных врачей и то попросили, правда культурно и вежливо попросили, но это обида, и такое не забывается – это на всю жизнь. И хоть бы нашли фигуру хоть в чем-то равную! Хоть отдалённо! Но ведь телка (бычок), а не главный врач. Ну пусть хирургической службы он и не касается – руки коротки! Так зато терапию потихоньку начинает разваливать, а это обидно. Он, Зобнин, в них немало вложил и своего азарта, и ума, и энергии. Ну дистанцию-то

между собой – человечешкой и им, Зобниным – личностью, он отлично чувствует, и его, Зобнина, не задевает никогда (этого бы еще не хватало!), и ведет себя, как застенчивый жулик Альхен у Ильфа с Петровым, но ведь невыносимо всё это! А главное – повод-то какой найден шикарный: хирургическая служба разрослась. Она требует огромных сил со стороны руководителя, и надо поберечь Евгения Филипповича – он ведь у нас один. Нельзя же ездить на человеке. И невозможно больше, нет сил видеть эту посредственность, это пустое кресло, потому что человека в нем нет, и все по инерции тянутся перед должностью, которую это чучело занимает. А жулик отчаянный, и эта комбинация с ремонтом, на которой он не удержался, все-таки погрел руки, она же насквозь просматривается, как стеклянная. И хватит. Пора ставить вопрос – или я, или он! Завод обещал полную поддержку, и не может быть, чтобы кто-то задумался, затруднился в выборе, кого из них предпочесть. И был юбилей, и чествование, и банкет, и масса прочувствованных речей, а адресами и подарками завалили всю сцену, и орден трудового Красного Знамени вовремя подоспел.

А потом через месяц он пошел в лобовую атаку – или я, или он! И ему сказали, что очень жаль, что он так ставит вопрос, но Башкатов хороший организатор здравоохранения, и нет никаких причин снимать его с должности. И он сказал, что тогда он уволится. А ему сказали, что очень сожалеют. И он уволился. И это была катастрофа. И перестал он быть тем, кем был. И понесло его по городам и весям, как щепку несет поток, и нигде он не мог осесть надолго. И сник он, потух, и стареть начал быстро, и руки всё заметнее дрожали на операциях, и пить (поговаривали!) начал от пустоты ли, от обиды – кто знает?! В общем, Зобнин кончился, и как не было шефа. А вскоре после отъезда Савича, кто-то из компании переслал ему вырезку из областной газеты, где черным по белому было написано, что вот, мол, был главным врачом крупнейшей на Урале медсанчасти жулик и проходимец с фальшивыми краденными документами. И не имел человек этот даже среднего образования. И ему, этому проходимцу, удалось аттестоваться как организатору здравоохранения первой категории. К тому же он еще и кандидатскую диссертацию гото-

вился защищать, и ещё только этого конфуза не хватило. Об одном только забыл упомянуть расторопный журналист: кто проиграл в борьбе с этим жуликом. Какого человека на него разменяли.

На Савича и многих других эта стремительно развернувшаяся, несовместимая с самими представлениями о здравом смысле эпопея произвела необычайно тягостное впечатление. Он было рванулся уехать с шефом, но тут Лидка встала на дыбы, и пришлось покориться обстоятельствам ценой постоянного в последующем непреходящего чувства вины перед шефом. Как будто, уехав с ним, он что-то мог изменить в его судьбе, что-то исправить! А потом начал он широко, много и всё оперировать в лёгочной хирургии, и за два года сделал триста легочных операций, и появилась и своя тактика, и свои соображения по ряду вопросов, и даже свои оперативные варианты начали вырисовываться. А потом поехал на аттестацию, и так держался, и такое впечатление сумел произвести на комиссию, что дали ему, врачу с семилетним стажем, первую категорию, и это были сенсация и чудо.

Виктор написал статью по организации оживления и понёс её Фофанову.

– Напечататься в центральном журнале трудно, – сказал Фофанов. – Мне это еще ни разу не удалось, хотя такие попытки были. Давай-ка направим её профессору Лидскому на рецензию. Авторитет у старика огромный, и его положительный отзыв – это практически путёвка в журнал. И они направили статью за двумя подписями, потому что Фофанов был теперь шеф, и всегда поддерживал Савича в вопросах реанимации, и здорово помогал ему в лёгочной хирургии. Словом, Савич считал, что первой должна стоять подпись шефа. Профессор прислал восторженный отзыв. «То, что вы сделали в районном городе – поразительно», – писал он. – Мы у себя в клинике пока и не задумываемся о подобном. Я рекомендую направить статью в журнал «Хирургия» и приложить к ней написанный мною отзыв». Статья была послана в 1961 году, а опубликована в 1963, когда впервые в стране значительная часть журнала была посвящена проблемам оживления. Там же печатались и статьи зарубежных авторов. А ведь тешило же тщеславие,

и еще как, что вот он выступил пионером практической реанимации.

Тубинститут. Конференция. После множества выступлений, вялых и нередко дублирующих друг друга, с приглушенным шумом откровенно скучающей аудитории – вдруг свежий ветер и мертвая тишина острого интереса. Профессор Шабад Михаил Львович. На сцене артист. Поставленный голос. Разнообразие интонаций. Чувство меры во всём: в жестикуляции, патетике, паузах, аффектации. На следующий день показательные операции. Всё отработано до мелочей. Профессор подходит к столу, когда грудная клетка уже вскрыта. Несколько четких уверенных движений руками без перчаток, и операция закончена. Оператор переходит к следующему столу, и все повторяется. Так три раза. Фантастический парень. Виктор вышел из операционной ошеломленный. Потом чай в кабинете профессора. Несколько хирургов-гостей. Своих никого. Профессор явно в ударе, и доволен произведенным впечатлением, о котором почему-то молчат. Все гости в состоянии заметного обалдения. Михаил Львович верен себе: шутки, анекдоты, смешная казуистика в хирургии. Виктор смотрит и слушает с преглупым выражением потрясенного обожания на лице. Спыхватывается: «Чего это я в самом деле? Вот ведь милая черта – с ходу отдаваться первому встречному ловчачу и краснобаю!» Потом гости расходятся. Его милостиво оставляют.

– Слушай, Виктор, ты занимаешься ерундой! – С нажимом, как о давно решенном. – Я забираю тебя в аспирантуру. Три года, и ты кандидат наук. Экзамены – фикция! Считаю, что конкурентов у тебя не будет. Вопрос с директором института можешь считать согласованным. Кстати, ты знаешь, что делает Перельман? Нет, ты не знаешь. Представь себе, он заканчивает резекцию нижней доли лёгкого пересадкой диафрагмы! Как? Очень просто – диафрагма отсекается от ребер и пришивается выше в зависимости от объема оставшейся части легкого, это же прямая конкуренция с торакопластикой.

– Михаил Львович, я эту операцию делал.

– ?

– Честное слово, делал!

– Ты в своем уме?

– Делал, Михаил Львович, девять раз!

– Ничего себе номерок! – И опять с нажимом и даже злостью, – У меня ты три года близко не подойдешь к операционной. Виварий, эксперименты на животных. Трансплантация легкого и диссертация. Всё!

– Да мне оперировать хочется, Михаил Львович!

– Обойдешься, три года без операций. Подумаешь – хирург!

– Нет, Михаил Львович, не подумаешь, а хирург! За приглашение спасибо, конечно, искреннее спасибо. Только не ученый я – практик. С меня этого хватит.

– Зря, Виктор. Зря. Ты подумай хорошенько, всё взвесь, другого такого случая может долго не представится, а время-то идет! Нет, а как ты все-таки додумался до пересадки, как решил, или ты в своей дыре английскую периодику читаешь? Ведь в нашей литературе ничего не было.

– Я по этому поводу, Михаил Львович, ничего не читал. Первый раз случайно вышло, а потом уж потихоньку и планировать стали. Делал я удаление легкого вместе с плевральным мешком, эмпиемой, ну и залился гноем. Пришлось удалять пять ребер, а тут и обнаружилось, что диафрагма на значительном участке оторвана (тяжелая была плеврэктомия!). Пришить её на место не удалось, пришлось мобилизовать и пришивать выше к шестому ребру. Это, кстати, оказалось и проще. После этого обнаружили плевральную полость ликвидированной. Парень проскочил прекрасно, а ведь погибал от гнойной интоксикации. Сейчас таких операций у меня – шесть, и три резекции по типу той, что делает Перельман.

– Ну артист, – сказал профессор. Ведь это же практически абсолютно новый оперативный вариант. Ну даешь, Савич. Ладно, собирайся, пошли ко мне обедать.

Виктор знал – экстренная хирургия – это экстренная. Прижало тебя, как говорится, приспичило и, пожалуйста бриться, ложись на стол, к кому попал, выбора нет, и нет времени решать, обдумывать – все предоставлено острой стихии действия, и случайность лукавая, подвижная, оборотистая и непобедимая диктует чет-нечет. В пла-

новой хирургии есть время подумать: согласиться или еще подождать, да и просто, наконец, выбрать себе хирурга – вершителя своей судьбы, и сказать четко, честно, прямо и недвусмысленно: так, мол, и так, ребята, хотите обижайтесь, хотите – нет, но оперировать меня будет такой-то, и все. И такой возможности пациента не может лишиться никто, хоть сам министр здравоохранения. Во время операции, тем более тяжелой, сложной и опасной, могут возникать и возникают ситуации, требующие мгновенного незамедлительного ответа и сохранности реакций, и от мгновенности принятых, подчас механически, решений зависит все: жизнь, благополучие, тяжесть и осложнения или, напротив, безоблачность послеоперационного периода. И уж сделал выбор – сиди не рыпайся, ты отдался врачу, и возврата нет. И нет другой судьбы, и не будет другого действия.

И уж кто-кто, а Савич принципу этому не изменял никогда. И его удивляло, что большинство больных шло на операции, нисколько не заботясь о том, кто будет оперировать. Но уж если больной с любой задуманной операцией, независимо от ее тяжести, говорил: я хочу, чтобы меня оперировал такой-то, то отказа не было. И всегда он, планируя операцию, предоставлял самостоятельность врачу, будучи абсолютно твердо уверенным, что это ему по силам, что все будет сделано «lege artis». И раз как-то выпал такой курьез: приходит к нему больная, интеллигентная женщина, и просит, вернее, требует жестко и бескомпромиссно, что я, мол, хочу, чтобы меня оперировала Устименко.

А была она вечным ассистентом, и сама оперировала крайне редко, и только мелочи, и уж ответственных решений за операционным столом просто неспособна была принимать, неспособна абсолютно и безоговорочно. Савич попробовал тактично возразить – бесполезно. Тогда он, улыбаясь внутренне и внутренне холодея, сказал «да», и был абсолютно прав. Операция была из самых средних, и Устименко справилась с ней преотлично и во вполне свойственной себе манере несколько раз вызывала его в операционную, и спокойно, и сообщая они решали узловые моменты, и все закончилось преотлично. И больная, выписываясь, сдержанно и с достоинством поблагодарила его, что он исполнил ее желание, и Устименко, что она

все сделала как надо. И Виктор потом, воспользовавшись этим успехом, и желая вселить в хирурга хоть крупицу уверенности больной, оперированной ею, начал ставить ее на самостоятельные операции у других больных и потерпел поражение. Она способна была оперировать, пока он стоял у нее за спиной, и приходила в состояние полного и опасного замешательства, как только оставалась один на один с операционным полем, кроме тех крайне тяжелых больных, которых оперировать он считал своим долгом. Он никогда не отказывал в операции тем больным, которые настаивали на том, чтобы операция была выполнена им лично.

А теперь давайте попробуем проследить за распределением рабочего времени врача-хирурга торакального отделения, работающего интенсивно и с отдачей. В отделении семьдесят пять коек. Это значит, что по нормам в штате отделения должно быть тринадцать–пятнадцать врачей. Вместо этого их у вас пятеро. Заведующий отделением, два хирурга и терапевт. Шансов, увеличить штат и привести его в соответствии с расписанием, мало, вернее, нет, потому что энтузиастов, желающих работать в хирургии, тем более в такой тяжелой области, становится с каждым годом все меньше. Кроме того, финансовые органы на месте куда сильнее министерских постановлений, и вам говорят: вот вам семь ставок, и все. Больше не будет. Жаловаться, требовать, доказывать бесполезно, потому что товарищи, регламентировавшие ваш штат, исходят из реальных местных условий, ваши трудности и задачи их просто не интересуют: они отлично знают, что вы врач и не можете отказаться от ведения больного, если он лежит в отделении. Несколько выше мы говорили о трудностях со штатами реанимационной службы. Вы знаете, что серьезная легочная хирургия без нее немыслима: вы просто не имеете права оперировать, не создав службу. Ну и что, и не оперируйте, это никого не затрагивает кроме вас. Кое-как исчерпав внутренние резервы диспансера, а такие есть, вы создаете реанимационную палату, но вот она-то как раз и не предусмотрена планами министерства, поэтому сестры палаты, да и врачи автоматически лишены льгот, предусмотренных законом для такого рода служб. Вот и заставьте работать здесь сестру, когда ее подружка в

том же отделении и при той же зарплате трудится с нагрузкой в десятки раз меньшей, чем она. К тому же подружка, общественница, посещает репетиции заседания месткома и т.д. На нее при ее крайне низкой рабочей квалификации сыплются почести, а сестра реанимационной палаты больше привычна к подзатыльникам: тут недогляд, там невыполнение, недостаток бдительности и прочее и прочее. Поэтому ей надо быть энтузиастом, а она мать хозяйка. В семье ей надо и сварить, и стоговить, и в очередях постоять, а она является домой измотанная и выжатая, и «не могу больше, хватит с меня, пусть другие работают».

Однако же пора начать рабочий день врача. В 8 часов 30 минут он является на работу. В 8 часов 45 минут сдача смены в отделении. Сестры отчитываются за ночное дежурство, их сведения дополняются дежурным врачом, если истекшую ночь был дежурный врач отделения, и если у него находится, чем дополнить сообщение сестер. Здесь же уточняются недоделки, фиксируются допущенные в работе ошибки. По очереди высказываются все, кто имеет, что сказать. Все это занимает пятнадцать минут. В 10 часов начнется операционный день. За оставшийся час необходимо посмотреть больных реанимационной палаты, от пяти до семи человек, основательно сориентироваться в их состоянии, обсудить атипично протекающие варианты, затем рентген. Осматриваются больные с ранними послеоперационными сроками, и хирург при этом присутствует обязательно и всегда, осматриваются больные с отдаленными сроками после операций, если в этом есть необходимость. По окончании рентгеновского осмотра пора мыться на операцию. Как раз в это время терапевт, торжественно, всегда в сопровождении сестры, идет на обход. У хирурга обход отложен на неопределенное «потом», и дай бог, если этому «потом» сегодня суждено состояться.

Операция. Анестезиолог в отделении один, и он работает всего на одну ставку, поэтому в день отделение может выполнить две малых операции и одну большую. Остановимся на втором варианте, потому что вы – приверженец оказания помощи тяжелым больным и людям, которые без оперативного вмешательства обречены в ближайшие сроки. Операция продолжается от двух до трех часов. Лето.

Вентиляции в операционной нет, и вы, мокрый уже с ног до головы уже с первых минут вмешательства, а трудности все впереди, и как их хватает в этом разделе хирургии. Вы выделяете легкое из спаек, и кровоточивость при этом порой принимает устрашающие размеры. Вам приходится работать быстро и решительно, чтобы терять как можно меньше крови. У вас могут возникать операционные осложнения, и ситуация в операционной принимает сразу драматически напряженный характер. Наконец, вашими усилиями и усилиями ваших ассистентов, осложнения преодолены, кровотечение остановлено, но это еще не значит, что оно не возобновится в послеоперационном периоде. Операция заканчивается. Оператор близок к полному изнеможению, ассистенты вымотаны немногим меньше. Когда вы размыиваетесь, часы показывают 13 часов 30 минут. Коллеги с нижнего этажа успели за это время сделать обход, заполнить часть (если не всю) документации и благоденствуют в беседах на темы, весьма далекие от задач терапевтического отделения. Вы, пошатываясь, выходите из операционной. Одна мысль о еде вызывает ваше явное отвращение, вы жадно курите. Включаете у себя в кабинете чайник и, не дождавшись, пока он закипит, опять идете в операционную. Больной еще под наркозом, общие показатели у него удовлетворительные, но ему перелито за операцию два-три литра крови, и еще неизвестно, как на это отреагируют почки и другие органы. Временное успокоение наступает, когда у больного выведут мочу, и она ничем не отличается от предоперационной.

Вторая забота. Дренажи оставлены вами в плевральной полости, идет кровь или нет. Но кровь через дренажи выделяется всегда, и успокоение, если у больного прекратится кровотечение, можно получить только через два-три часа, и все это время вас лихорадит, и надо опять переливать кровь в соответствии с новой кровопотерей. Вместе с тем, вас ожидает неисчислимое количество дел, не терпящих отлагательства. Вы должны сделать четыре плевральные пункции, и их надо делать быстрее, потому что перевязочная сестра работает до трех часов, а после ее ухода выполнение этой манипуляции обрастает дополнительными проблемами. Вам надо на свежую память записать в двух экземплярах протокол операции, заполнить

истории болезни на двух больных, которые поступили накануне, и еще не написаны. В это время вас зовет анестезиолог, потому что она разбудила больного, и ей надо идти домой, так как в отличие от вас, она работает на одну ставку. Вы контролируете ее назначения и отпускаете ее с миром. После каждой пункции вы бегаєте смотреть больного, потому что коллеги ваши также заняты, как и вы. Хорошо, если вам повезло, и у вас нет больных, которые нуждаются в длительном промывании плевральной полости, бывает, что и по несколько часов в день, а если таких больных двое или больше, а это не фантазии, это случается.

Представьте себе, что в это время приходят приглашать вас на репетицию хора или заседание месткома. Если ваш отказ при этом будет облечен в формы, далекие от академизма или просто корректности, то вам кажется, вас так легко понять. Но это вам только кажется. Итак, рабочий день подходит к концу. Обхода вы так и не сделали, и нет никаких гарантий, что вы сделаете его завтра. Ваши больные, даже те, которые явно нуждаются в этом, остались неосмотренными. Вы вымотаны и раздражены. Дневники у вас не заполняются в течение последних десяти дней, и нет никаких надежд на то, что отсроченные во времени записи будут полностью отражать действительное положение вещей. Если ваша очередь дежурить, то коллеги просят вас хоть в какой-то степени компенсировать дневные недоделки, и вы не можете им отказать, потому что с такой же регулярностью обременяете их подобными же просьбами. Считается, что дежурства у вас с правом сна, но вы не можете: вам не позволяет сделать это неудовлетворительное состояние оперированного вами больного и масса дел, которые вы потихоньку стараетесь переделать за ночь. Хорошо, если ночь пройдет спокойно, и вам не придется собирать срочно операционную бригаду для повторной операции и поиска источника кровотечения, а это тоже бывает. Утром все начинается сначала, и вы идете сдавать рапорт главному врачу и видите спешащих на работу, хорошо отдохнувших, выспавшихся, благополучных и довольных жизнью терапевтов и врачей-лаборантов, и вас охватывает тихое отчаяние: «Ну почему все это мне одному? Почему? Чем я хуже их». И вы говорите себе это особенно под впечат-

лением неудач, и все-таки вы не променяете ваше несчастье, вашу любовь, суть и смысл вашей жизни ни на какие блага мира. Это ваш крест, и вы его несете с достоинством, и насколько хватит ваших сил.

И все-таки вы не можете понять одного, почему эта ваша добровольная каторга должна оплачиваться так же, как и спокойная, неспешная, без больших волнений деятельность фтизиатра, терапевта или венеролога, или рентгенолога, или врача другой, менее динамичной специальности.

Подведем итоги. Люди ходить в хор заинтересованы, потому что это приятно: разнообразить рабочий день трехчасовой репетицией, особенно если после этого вас обдаёт ощутимый дождь благ, поблажек и поощрений. К вам приклеивается небесполезный ярлычок общественника, кивая на который, можно оградить себя от посяганий других, с целью использования вас в мероприятиях, требующих более ощутимых затрат. В итоге с грехом пополам больница подготовилась к смотру. Программу не отличают ни новизна, ни вкус, исполнение хромает на обе ноги, потому что качество здесь требует не штурмовщины, а настоящей заинтересованности и длительной, планомерной и упорной работы. Но все это позади. Смотр сегодня. Вы выглядите ничуть или ненамного хуже других, потому-то другие не внесли ничего нового в обозначенный выше принцип. Теперь можно успокоиться и почить на лаврах до тех пор, пока новый смотр или новая волна приказов сверху не оживит с помощью кнута и пряника захиревшее и в общем нежизнеспособное дитя коллективного творчества. К сожалению, эта профанация самодеятельности и общественной работы стоит еще и немалых денег, потому что актерам шьются костюмы, приглашаются оплачиваемые руководители, выдаются денежные поощрения и бесплатные путевки и т.д. Можно возразить, что таким путем выявляются таланты. Да, самодеятельность выявляет таланты, и этот тезис не нуждается в примерах и подтверждениях. Только к этому следует добавить, что талант пробивает себе дорогу, даже и преодолевая препятствия, и всегда сам и без понуждения со стороны находит путь на сцену, и это делают люди не только талантливые, а просто обладающие минимальными способностями, и в этом плане вполне

достаточно клуба медиков в областном городе или районного клуба в районном центре, и это как раз то самое условие, при котором самодеятельность действительно станет таковой и будет заявлять себя как мероприятие общественное, а не инспирированное сверху путем основательного давления на главного врача с цепной реакцией центрбежного наклона.

Виктор поехал знакомиться. Он не любил вокзалов и вокзальной суеты, и давки у касс, и не любил вагонной скуки, и плохо спал в поезде, и ему всегда до конца дней фатально не везло с попугайчиками. С мечты, встретить в пути интересного и яркого человека, начиналось любое путешествие, а в купе его ждала непрерывно переругивающаяся супружеская парочка с крикливым младенцем и застоявшимся запахом пеленок в воздухе, пропитанном раздражением и тоской, или унылые пьяницы, или дебелая дама, с кокетливостью и жеманством, развитыми в ущерб умственным способностям. Баловался же он – писал ведь как-то:

*На мне обязанностей гиря:
Вокзалам выдать панегирик.
Ведь провожаем-то не тещу! –
Мои, вот эти, супермоци!
И стою, телами сжатый,
Как актер провинциальный,
В эпизодах уезжаний –
Самый главный уезжатель!*

Эта поездка не составила исключения. Двое суток в его купе изрядно поддатая сборная со всего вагона компания остервенело забивала козла, и он сразу поставил себя так, что у них не было причин обращаться к нему с вопросами. Зато были причины понимающе переглядываться и выразительно жестикулировать, когда он поворачивался к ним спиной. Он весь день проводил в коридоре, посиживал в ресторане, пытался писать стихи – не получалось. Поезд пришел в пять часов утра, ночью, по зимнему времени. Он потолокся по ничем не примечательному вокзалу, выходил курить на привокзальную площадь, освещенную тусклыми фонарями, пытался дремать на жестком эмпеэсовском диване, а часов в семь

поймал такси и поехал куда-то на другой конец города. В пригороде машина, повертевшись среди пятиэтажных близнецов-домов, поехала вдоль каменного забора с шестиэтажным зданием, за ним тускло посвечивавшим окнами, и Савич понял: это она – медсанчасть. Потом ему показали кабинет главного, и он стал ждать и с любопытством следил за длинной, полусонной, комически нескладной фигурой в белом халате, несколько раз пересекавшей коридор и переставлявшей длинные свои ноги со значительным и видимым, почти стариковским, усилием. В фигуре этой было что-то раздражающе знакомое, что должно было еще через пять минут прорезаться в удивленно радостном вопле – Костя! Фигура не без усилия поставила на место отвалившуюся от удивления каменно-тяжелую боксерскую челюсть и, как от укуса, дернула головой, знакомо скривила лицо, зафиксировала мало осмысленный взгляд на предмете, так фамиллярно и просто назвавшем ее по имени, и вдруг шагнула вперед, широко расставляя крестьянские свои длинные и нелепые лапища, и, распахнувшись вся неожиданно тонким, с непередаваемыми интонациями потрясения и радости голосом, пискнула – Виктор! Объятие состоялось, фигура проснулась, кажется, окончательно, и стала бывшим однокурсником, Костей Старшиновым. И начались взаимные расспросы, и: – Так это тебя, значит, пригласили? вот здорово! А как Лидка? А как ты? Первая категория? вот это да! У нас ни одного с первой нет. А я, Виктор, женился здесь, в Сибири. Жена? Преподаватель английского в сельхозинституте. Парень растет. Пять лет. Работаю оперирующим травматологом. Работой недоволен – скучно. Хирурга из меня не вышло, дальше аппендицитов не пошел. Замский? Мужик он толковый. Умница. А матерщинник страшный. По-моему, он тебе понравится. И после того, как определишься, обязательно меня найди. Лады? Улыбчивая секретарша провела его в огромный кабинет. У стены стулья в два ряда. Большой письменный стол. Маленький человечек с лицом восточного типа, чуть косящие навывкате карие глаза, энергичные движения, слегка как будто бы осипший голос, резковатый, но с богатой интонационной игрой. Мимика, жестикация – все усиленное, с отчетливым переигрыванием, но и со свойством быстро

пробуждать симпатии собеседника. Уже со второй фразы на «ты»! Не забывает о своих заслугах: Я построил медсанчасть, я построил в области тубсанаторий, я заканчиваю строительство фтизиохирургического корпуса. Словом, я – создатель, я – творец, я – хозяин. Все это оказалось правдой. Потасил посмотреть больницу. Знакомил с десятками людей. Вел себя по-хозяйски, да еще и подчеркивал Виктору свою власть, и чувствовалось: его любят и немного побаиваются. Посмотрели строящееся отделение. Обговорили все основные вопросы. Замский пообещал квартиру даже и операционной сестре, которая хотела уехать с Виктором. Десять лет проработала старшей операционной сестрой в К-ске, а квартиру так и не получила, ютятся с мужем и дочкой у родственников, и перспектив никаких. Обусловили приезд Виктора в течение месяца. Простились тепло, и как будто были знакомы лет десять по крайней мере. Старшинова Виктор искать не стал – торопился домой. Да и зачем? ведь вопрос о переезде был решен окончательно.

Провожать пришла вся теплая компания. На продутом ветрами перроне, поземка, тусклый, улетающий в мельтешение искр и снега, зыбучий свет фонарей. Поезд пришел вовремя, торопливые поцелуи, напутствия, остроты, слезы – все было. Мороз. Ворчливая проводница захлопывает дверь в тамбур и... прощай, К-ск. И как отрезало. И нутром всем, кожей почувствовал – навсегда. Ни с кем больше не свидеться. Хорошие ребята. Без шкурничества и корысти. Таких больше не будет, и ничего такого больше не будет. Теперь все будет не так.

Потом, глядя из окна кабинета (строящийся район города: бульдозеры, краны, торопливая пробежка прохожих, мороз, ледяной ветер, а отделение еще не открыто – устанавливается оборудование, набор персонала, обучение сестер – да мало ли дел), писал Ленке Вейн:

*За окном на мерзлой гряде
Ноет трактор, строит зданья.
Торопясь, проходят люди
По делам и на свиданья.*

*Как конвейерная лента,
День рассчитан, график точен.
Ходят люди, каждый чем-то
Озадачен, озабочен.*

*Я не маюсь, не страдаю,
Да и помню уж не так уж.
Понимаю, принимаю,
Что тебе (разбиться!) замуж.*

Дальше он забыл.

И конец:

*И пускай на мерзлой груди
Ноем трактор, строит зданья.
Завтра день мой будет труден
До предела. До свиданья.*

Жестоко, конечно, написал. Она ведь его любила, самоотверженно и очень сильно. И все об этом знали. И он знал. И он даже и не думал переступать через прекрасную простоту дружеских отношений, у него и мыслей таких не было. А у нее были. Да она и не пыталась этого скрывать, великолепно понимая, что не быть этому, никогда не быть, уж очень она некрасива. В отношения эти были допущены все, кому не лень, да и скрывать-то было нечего и не от кого. Ну а кому не понять было таких финтов, так это его жене. И она из кожи лезла, делала вид, что ей все равно. А к Ленке то радушная, то такой злостью обрежет. А той было начихать: она и домой продолжала ходить, как ни в чем не бывало, ей ведь Виктор был нужен, и только он. И оскорбления, и выпады ее не задевали. Она их умудрялась как-то не замечать. И все-таки Лида умудрилась отвадить компанию, как-то незаметно, исподволь. Избегать стал гостей Виктор, и Вадька, и будущее несостоявшееся светило Юлька Семенов с женой, и обе Альки, терапевт и онколог, и даже громогласная, умная и циничная, как змея, Зоя Рабкина со своим Андреем.

Часть II.

В пути!

Виктор приехал в январе 1963, а отделение приняло первых больных в апреле, и все три месяца шла организационная работа: обучался персонал, расставлялось оборудование, а он еще и ночами дежурил в общей хирургии: оперировал экстренных больных (чтобы не забыть!), а скорее просто жить не мог без активной работы. Наконец все утряслось. Приехали жена с дочерью и операционная сестра с семьей, и получили квартиры на одной лестничной площадке в пяти минутах ходьбы от работы. И, наконец, были сделаны первые операции. Он волновался перед «дебютом» страшно. На операции пожаловали и главный врач, и начмед, оперировал он быстро и четко, в напористой, твердо перенятой от шефа манере. Потом Замский целовал его в ординаторской, и радовался, как ребенок. Новые его коллеги поздравляли, говорили, что поражены техникой и хладнокровием, и быстротой, и какая это будет для них школа! Но уже после седьмой операции умер больной. У него началась двусторонняя пневмония, и Виктор всё сделал, что было возможно. И горлосечение, и ручную искусственную вентиляцию резиновым мешком наркозного аппарата проводил самостоятельно, до самой смерти, все шесть дней. Он убится сам, загонял сестер до последней степени – всё было напрасным. И тут он уже твердо знал, что новые его коллеги сделаны из другого теста, что близко их ничто не задевает, и они ни малейшего желания не имеют работать сверх обусловленных заработной платой рабочих часов... И эта смерть – его личная беда, а для них все это лишь крайне нежелательное возрастание нагрузки. Ведь когда он падал от усталости и нервного перенапряжения, проходя мимо ординаторской, вздрагивая и втягивая голову в плечи, слышал долетающие оттуда смех и шутки, и все замолкали, только когда он появлялся перед ними, и все эти шесть дней он люто ненавидел их, и незадолго до конца все-таки сорвался, и под напором его ярости и горечи они оцепенели.

«Может быть, вы наконец соизволите принять хоть какое-то участие в том, что происходит. Может быть, вы оторвете, наконец, свои многотрудные зады от кресел», – орал он. И они цепочкой потянулись в реанимационную палату, и только Паньшин, пряча трусливый взгляд, пробормотал, что это, мол, дело анестезиолога. И как всегда, по звонку в 17:00 он остался один с больным, а остальные по одному и бочком исчезали из отделения.

Это были сложившиеся люди, и контраст с его представлениями о хирурге и хирургии был настолько разительным, что воспитывать, переделывать их было бесполезно, и он это понял твёрдо. Были они все по тридцать и старше, и он сделал единственное, что было возможно: сухая, подчеркнутая официальность отношений: он – начальник, а они – подчинённые. Приказ, исполнение, проверка, и никаких эмоций и сантиментов. Замский, переживая, что вот, мол, не складывается дружного коллектива, пытался разговаривать с ними по отдельности, они слушали, кивали, поддакивали и явно не понимали, чего от них хотят. А один из них, Геннадий Иванович Новиков, хирург с пятилетним стажем работы в селе, мужиковатый простодушный увалень, только нагло вато улыбался:

– Да бросьте вы, Израиль Исаакович! Сделал всё, что обязан, назначения записал и гуляй после звонка – вот и вся схема врач-больной, и нечего здесь усложнять и мудрствовать.

После смерти больного всё пошло спокойно, и операции проходили хорошо, а четырнадцатый по счету больной опять умер. Но здесь дело обстояло совсем иначе. И Замский и Старшинов умоляли Виктора не брать его на стол.

– Виктор Петрович, – метался Замский по кабинету Савича, – пойми ты, наконец, что сейчас необходимо думать о себе и об отделении. Надо не меньше года поработать на себя. На свой авторитет. Ты только начинаешь в области. И ты не первый, кто пытался поставить здесь легочную хирургию. Поэтому есть недоброжелатели, которые с напряжением ждут, когда ты сорвешься. Больного можно отправить в тубинститут, и никто тебе и слова упрека не скажет. Ведь он, наверняка, не перенесет операции. Да на него смотреть и то страшно.

– Израиль Исаакович, не уговаривайте! Не тратьте энергии. Все равно буду оперировать. Операция для него последний и единственный шанс, и отнимать его я не намерен. Что касается тубинститута, он туда просто скорее всего не доедет.

– Да они не будут его оперировать, – ввернул Старшинов.

– Тогда тем более незачем посылать, – сказал Савич. – Дать ему умереть без операции можно и здесь, без спихивания. Я убежден, что больного оперировать надо, и, стало быть, это мой долг. А создавать себе авторитет ценой отказа в операциях больным, которые в них по-настоящему нуждаются – это как-то не для меня.

Замский не добился своего и ушел огорченный. А Савич сделал эту тяжелейшую плевралоэктомию, и больной умер. А следующим был Толя Клюев.

Толя Клюев. Ему двадцать семь лет. Порывистый, резкий парень, со слегка удлинненным красивым и интеллигентным лицом. Сухощавый, собранный, разбитной и веселый, смелый и жизнелюбивый, экономный и расточительный. – Рискнуть жизнью? – не хочется, но что делать?! Рискнуть репутацией? – поищите других дураков! Заболел в армии. Лечился в госпитале. Выписан и комиссован в отличном состоянии. Женится. Устроился на работу со своими восьмью классами на крупный завод в инженерной должности. На работе? – Ценят. Любят. Уважают. Жена принесла двоих пацанов. Обожают отца, и он себя вне семьи жены, детей, друзей не представляет. Связи? – весь город и немного больше. Охотник с девяти лет. Рыбак – с восьми. Построить лодку? – пожалуйста. Построить дом? – пожалуйста. Построить семью? – пожалуйста. Созидатель. Творец. Работяга. Умелец. Умница.

Верхняя доля левого легкого разрушена. Фиброз. Несчитываемое число каверн. Ниже – как будто бы порядок. В противоположном легком полная чистота.

– Толя, мы прооперировали четырнадцать человек – двое умерли. Не боитесь?

– Боюсь, Виктор Петрович, но ведь надо!

– Самое главное, чтобы вы не раскисали после операции. Вы

должны нам помогать. Доброжелательно смотреть на неприятные процедуры, если они будут, бороться, потому что, мне кажется, от вас потребуются значительные волевые усилия.

– Я согласен.

Савич и тогда, и потом не мог не восхищаться мужеством людей, которые, казалось, без колебаний ложились на операционный стол сразу после того, как их предшественник уходил в небытие. В таких случаях он всегда вспоминал бывшего своего шефа, Зобнина Евгения Филипповича, и его слова, что успехи легочной хирургии – это итог мужества больных, доверяющих зачастую не последний свой жизненный шанс хирургу, а, следовательно, воле, борьбе, риску. И вот мы – сообщники. Сообщники до тех пор, пока не станет ясным, что наше сообщество сильнее смерти. Достигло цели. Или до тех пор, пока в истории болезни не появится запись: «...Сердечная деятельность не возобновляется, дальнейшая реанимация признана нецелесообразной.» И всё возвращается на круги своя... и ты, как проклятый, потерпев поражение, ищешь нового сообщника, готового вместе с тобой рисковать, надеяться, верить, пробовать, не прощающего только одного: равнодушия, холодности, успокоенности.

Итак, мы – сообщники. Жребий брошен, и что-то ждет впереди? Операция началась с неладов сразу. Из капельницы дважды выпускали воздух, бог знает как туда попавший. Горизонтальным разрезом сзади у нижнего угла лопатки вскрыта плевральная полость. Болезнь сделала своё дело – верхняя доля легкого деревянистой плотности, сращения легкого с грудной стенкой и средостением настолько плотные, что орган просто вколочен в окружающие ткани. Выделение легкого идет вне анатомических слоев, и с большой кровопотерей.

– Тампон! Тампон! Еще тампон! (Новикову):

– Что вы смотрите по сторонам? Держите! Так! Дьявол! Купол плевральной полости кровит, потоки крови! Тампон! Горячий тампон! Так! Стало легче! Операционное поле высохло. Поражена только верхняя доля. Сосуд! – выделение. Лигатура. Так пять раз. Бронх выделен. Наложен сшивающий аппарат. Вена. Два движения. Перевязана! Пересечена... (гора с плеч). Анестезиологу:

– Евгений Алексеевич, раздувайте легкое. Еще. Еще. Ясно: расправления не будет. Вопрос: кровопотеря? – семьсот миллилитров. Удалены тампоны из купола. Кровотечение точечное. Диатермия – всё.

– Имеет смысл удалить три ребра, иначе это понадобится сделать через десять-пятнадцать дней после операции. (К анестезиологу):

– Как вы думаете?

– Удаляйте сейчас, Виктор Петрович. Все показатели хорошие.

И вот тут-то и началось. Удалены два и три ребра.

– Виктор Петрович, давление падает! Больной голубой.

– Дьявол! Что у вас там с вентиляцией? – Пауза. Потом, – Продолжайте операцию, все в порядке. Первое ребро удалено, Крови потеряно десять-пятнадцать миллилитров. Ерунда. Длительная проверка гемостаза (нет ли кровотечения!) Все в порядке. Дренажи. Швы. Операция – два часа. Кровопотеря – один литр.

Больной перевернут на спину. И в это время анестезиолог сообщает: давление 60/40, пульс несчитываемый. Сходу препарируется артерия бедра. Быстрее. Быстрей. Кровь в артерию – струйно, под давлением.

– Виктор Петрович, пульса нет. Больной становится серым, пепельные губы, заострившиеся черты лица и безмерно уставшего хирурга сотрясают, захлестывают волны отчаяния. Счет идет на минуты, мыть руки, колебаться некогда, быстрей. Громко – Скальпель! Грудная клетка мгновенно взламывается в пяти межреберье слева – ткани не кровят – клиническая смерть. Массаж сердца. Хлористый кальций – в левый желудочек.

Сердце под рукою напрягается, становится деревянно-плотным, и вместе с первым ощутимым толчком в пальцы всегда невероятно отрадное ощущение – волна блаженной радости, и анестезиолог: «Появился пульс на лучевой артерии». И чуть погодя, артериальное давление 145/90. Расслабленно наблюдать за работой сердца в ране, потом мыться не торопясь, обстоятельно. Швы. Все.

Савич смотрит наркозную карту. Пытается разобраться. Такой длительный период гипертонии, ясно: нарушения режима вентиляции – предъявить счет анестезиологу. Дальше коллапс и... что

такое? Не может быть! Невероятно! Кубик норадреналина в вену? Неразбавленного? Шприцем? Срывающимся голосом: – «Евгений Алексеевич, Вы что, пьяны?» Мысленно: «Мерзавец, гадина, безграмотная дубина, шарлатан». Вслух: «Это уголовщина! Больше вы здесь работать не будете. С меня хватит. Молчите. Я не желаю вас слушать».

Десять часов они не решались забрать больного из операционной: все время низкое давление и огромная трансфузия крови, полиглюкина с капельным медленным многочасовым вливанием разбавленного норадреналина, гормоны, витамины. Через десять часов давление стало нормальным, потом гипертония. Больной вышел из наркоза. Перевод в палату. Проснулся. Попросил пить. Узнал: «Виктор Петрович, спасибо!»

В ординаторской:

– Виктор Петрович, я...

– Молчите! Я не желаю выслушивать ваших объяснений! У меня, наконец, нет на это сил! Это-то хоть вы можете понять?

– Я виноват, Виктор Петрович. Сам не знаю, как это могло получиться.

– Замолчите вы, наконец, или нет?! И молитесь, чтобы он поправился, молитесь, слышите вы? Рывок двери, и в реанимационную палату. Очередные пять суток без сна и покоя, с бесконечными перепадами от мучительно орущих надежд к отчаянию. Ателектаз остатка легкого – наркоз. Бронхоскопия. Тяжелый парез кишечника – борьба.

Наконец, как будто бы все позади. Перед уходом домой (спать!) выкинуть все это из головы. Выпить бутылку вина. Страхнуть невыносимое напряжение, застоявшийся спазм всего организма, зашедшегося в пятисуточной муке. И, погляди на себя, на кого ты похож? – Щеки ввалились. Не брит, сгорблен, лицо серое как у тяжело больного. И Замский:

– Нельзя так, Виктор. Так тебя ненадолго хватит. Это самоубийство!

– А Толя-то? Ну человечина! Вот это воля! Такого образчика, такой породы еще не было. Мужик! Перед уходом – посмотреть еще

раз. Анализы. Нарастает анемия. Гемоглобин сорок две единицы. Дежурному врачу:

– Перельете кровь. Ампулу. На ночь наркотики, снотворные – все, чтобы спал. Всего хорошего. Дома. Не раздеваясь почти, на диван, и нет сна. И вино, и нет сна. И горячая ванна, и не сон – смерть. И уже жена трясет за плечо: – Вить, пришли из отделения. Толе плохо. И рывком, брюки, рубашку, ботинки, а на улице темень, и который час, и бегом туда. Дежурный врач-анестезиолог встречает на пороге.

– В чем дело?

– Реакция на переливание, Виктор Петрович! Кажется, это конец. В палате:

– Больной без сознания, видно как сердечные удары сотрясают не только грудь – койку. Артериальное давление 250/190, температура тела 41,3 градуса. Дыхание Чейн-Стокса, цианоз – синие губы, ногти. Резко:

– Что делали?

– Все делали, Виктор Петрович. Антигистаминные, хлористый, сердечные, спирт с глюкозой, наркотики. Наркозный аппарат, релаксанты – трубку в трахею и:

– Обложить льдом! Мокрые простыни! Менять. Считайте пульс, давление каждые две минуты. Проходит четыре часа. Температура становится – 35. Охлаждение закончено. Больной все время на искусственном дыхании. Пульс 100 – в минуту. Давление 120/60. Кажется – победа. Дьявол, перестарались – но что делать – рецептов в таких случаях нет. Температура снижается быстро еще на 1,5 градуса, хотя охлаждение давно закончено и вдруг – пульса нет. Давление не определяется. Мгновение непереносимого отчаяния, и на срыве:

– Скальпель! Кто-то побежал за скальпелем. Некогда ждать.

– Ножницы! Вот они. И ножницами, одним рывком, с повреждениями кожи (не до того) швы к черту, массаж, массаж, и только через десять минут сердце напрягается под рукой... Толчок, робкий слабый сильнее, и пошло. Ритм всего двадцать восемь–тридцать два в минуту. Атропин внутрисердечно. Швы. Опустошение. И только тут приходит мысль, что в таком состоянии дополнительное сни-

жение температуры может сыграть спасительную роль. В двадцать четыре часа началась эта баталия, а проснулся больной (опять проснулся) в одиннадцать часов утра. И еще пять суток. И опять парез кишечника – борьба. Ателектаз – борьба. Постателектатическая пневмония – борьба. И Алексеев:

– Виктор Петрович, такого в литературе еще не было. Ну простите, Виктор Петрович!

Клюеву:

– Толя. Ты вне опасности. Молодец. Я тобою век буду гордиться.

– Спасибо вам, Виктор Петрович. Не бойтесь, Виктор Петрович. Я знаю: все будет хорошо. И Виктор ушел домой. И тут, впервые за все время, Клюев захихикал, и начал требовать у дежурного врача, чтобы позвали Савича. А потом взял себя в руки, и успокоился, и уснул, и еще через несколько дней встал на ноги.

А потом был дебют на хирургическом обществе, и Савич продемонстрировал Клюева. Он доложил как всегда четко и лаконично все и не скрыл, а проанализировал допущенные ошибки. И когда после доклада сухощавый, чуть сутуловатый, спортивный парень пересек зал и, одним прыжком вскочив на сцену, повернул к аудитории худое улыбающееся свое лицо и теплым юмором светящиеся глаза, ответил на все вопросы и разделся, и показал два рубца от трех вскрытий плевральной полости, а все они зажили первичным натяжением, зал взорвался аплодисментами. И потом, после того, как больной был отпущен, выступали многие и говорили, что это образец мужества хирурга и больного, и что беспрецедентный этот случай заслуживает внеочередной публикации в центральной печати, и анализировали причины своих неудач в реанимации, и Виктор дополнительно рассказывал об организации этого дела. А потом многие приходили знакомиться с организацией работы в отделении, и приходили смотреть операции. И худшие прогнозы Камского не сбылись – отделение набирало силу, и о нем много говорили в городе. И смерти обреченных больных, которых Виктор продолжал упрямо брать на операции, никого не отталкивали, потому что многие из них выздоравливали, и здесь и не пахло авантюризмом или спортом, все видели и понимали, что оперируются обреченные

люди, и очередное несчастье (которых хватало в общем, и к сожалению) ни разу не послужило причиной отказа от операции других больных, которые ждали своей очереди и видели главное: что в отделении добросовестно и со страстью делают все, чтобы больные поправлялись. И в этом деле огромную роль играли беззаветные труженики – сестры.

И тут уволился, и уехал Смыков, и на его место пришел другой анестезиолог – Гельмут Карлович Глейм, ровесник Савича, – человек интересной судьбы и своеобразных решений, высоченный парень с выправкой гренадера и манерами светского льва. Он ему сразу понравился широкой доброжелательней улыбкой, независимостью суждений, интеллигентностью и тонкостью ума, и они сразу стали друзьями. Виктор нашел в нем помощника, верного и преданного, потому что человек этот был предан делу, и был безгранично умен и любознателен, и жизни вне работы для него не существовало, как и для Савича. Он пропадал в отделении, и если занимался больным, то делал это с полной отдачей. Двигали им несколько иные стимулы. В ведении тяжелого больного его интересовал прежде всего ответ организма на те или другие воздействия, и он прослеживал это все с любознательностью ребенка и настоящего ученого. Его вели в его лечебных действиях пределы. Пределы переносимости, пределы действия лекарств в экстренных ситуациях. И у него была отличная реакция и цепкий, все запоминающий взгляд. И, раз ошибившись, он не повторял своих ошибок никогда в жизни, непрерывно читал, и непрерывно нес в отделение новое. И пусть не все новое было хорошо, они умели вместе быстро схватывать суть и отставлять навсегда не оправдавшие надежды, способы и медикаменты. Но за ним все-таки надо было присматривать, потому что страсть исследователя могла завести его далеко. И Савич делал это, и Гельмут никогда не обижался, и вообще за все время совместной работы у них причин оставаться недовольными друг другом не было. И как содружество хирург–анестезиолог – это была идеальная пара. И это время совместной работы было самым плодотворным и результативным в жизни.

И «ЧЕЛОВЕК УВОЛИЛСЯ». Под таким заголовком появилась статья в областной газете. И это было начало конца Замского. Он

имел несчастье возомнить себя незаменимым. Впрочем, по порядку. Когда отделение начало работать, у Савича было три ординатора, три хирурга – Новиков Г.И., возраст тридцать лет, стаж пять лет – работал районным хирургом. Пустой малый с неплохими руками и легкомысленный, как шлюха средней привлекательности. Костя Старшинов, друг чуть ли не детства, и Панышин А.Д., тридцать лет. Плотный, низкий, с тонким дамским голоском и манерами предупредительными и внимательными, с точной дозировкой предупредительности, как говорится, на грани микроны, и он подхалим, миллимикроны – и подлец. И всегда – слуга покорный, рабски преданный, засматривающий в глаза – вот я, здесь, весь к вашим услугам, весь ваш, весь перед вами. Понравится, и какая-то такая же, почти неуловимая игра граней, и наглец, хам, деревенщина, попирающая слабого всем весом своего холеного и упитанного тела – так надо. Я начальник – он слуга. Савичу его было хронически жалко. Он (Савич) в глубины особые не входил и старался избегать внерабочих контактов, и без конца натывался на преданность взгляда, почти угодничество, почти подбострастие, и принимал это болезненно, и ему часто хотелось бежать куда глядят глаза от этой полурабской предупредительности, преданности и покорности, к которым не привык и которых в жизни не видел. Хирург он был никакой. Совершенно неподготовленный, и что с ним было делать Савич не знал, потому что не мог себе представить, как это можно браться за легочную хирургию что там без солидной, просто без минимальной подготовки по общей хирургии? Вёл больных с деревянной стандартностью: сказано-сделано, от сих до сих, ни фантазии, ни мысли, ни мнения. Савич пытался его раскатать, вывести из инерционного состояния вечного ожидания. Бесполезно. Пытался тихонько давать ему оперировать, но на это страшно было смотреть. Становился ассистировать сам, но это было все равно, что делать операцию целиком от начала и до конца, только было бы много быстрее. Потом выяснилось, что позаботиться о себе этот беспомощный и жалкий, в общем, парень мог не хуже многих других. Он ухитрился продать дом с садом в Томске и получить трехкомнатную квартиру со всеми удобствами, на которую

в жизни не мог бы рассчитывать, так как специалистом никогда не был и не стал им.

А когда все эти дела были обделаны, и безопасность малейших последствий достаточно гарантирована, он пришел к Савичу, посмотрел на него нагло, трусливо и пристально, и молча положил на стол заявление об уходе. Савич опешил. Растерялся.

– Я не совсем понимаю, в чем собственно дело, Анатолий Дмитриевич?

– Дело в том, что вам придется поискать другого негра, а с меня хватит.

– Не понимаю, – пожал плечами Савич, – что случилось, какая вас муха укусила? Если у вас есть претензии, давайте обсудим все по-мужски и с глаза на глаз, если хотите. Но зачем же так. Я вас вроде ничем не обидел. Не помню за собой такого. Если у вас что-то накопилось – выкладывайте, и постараемся найти общий язык. А так ведь нельзя.

– Я вам все сказал, Виктор Петрович. А воду в ступе толочь нечего. Какие будут распоряжения на ближайшие двенадцать дней?

Виктор психанул, попытался поймать его взгляд – бесполезно. Тот отводил глаза, говорил нагло и развязно. «Хрен с тобой, – мысленно сказал Савич, – тоже мне деятель. Пустышка. Вали на все четыре стороны».

– Что ты, Виктор, думаешь по этому поводу, – спросил Замский.

– Я думаю, Израиль Исаакович, что в будущем людей в отделение надо брать поосмотрительнее. Паньшин уйдет. Его вы не удержите никакими силами. Он всего добился, чего хотел. Он смылся из Томска, потому что понял свою непричастность хирургии. Там это для него было средством остаться в городе. Здесь – хватануть квартиру. Скажите, почему его отпустили из Томска без трехгодичной отработки, и даже написали хорошую характеристику, а ведь его оставляли в городе только потому, что он согласился идти в хирургию туберкулеза. Он сам об этом говорил. Диагноз ясен. И прогноз не зависит от нас с вами.

– Ты представляешь, что такое для меня потерять или раздобыть квартиру, – глядя на Савича карими, на выкате яростными глазами,



Константин Старшинов, Виктор Кузник (в центре), Гельмут Глейм

забегал по кабинету Замский. Мы бы могли за трехкомнатную квартиру прекрасного специалиста найти. Нет, я этого так не оставлю. Он у меня попляшет. Я в областную газету напишу. Сегодня же, и вы все подпишитесь.

– Иннокентий Израилевич, надо уметь проигрывать. Парень обвел нас вокруг пальца, как хотел. Надо с этим смириться. Я лично подписываться под статьей не буду. Потеря квартиры – печально, конечно, но потеря такого специалиста – скорее благо, и все взаимно компенсируется.

– Все-таки ты не прав, Виктор. Ну что тебе стоит быть чуть помягче со своими врачами. Ну, улыбнуться им лишний раз, поговорить по душам и необязательно о работе. Будь помягче – они тебя на руках носить будут. Будут молиться на тебя.

– Мне их молитвы не нужны, Израиль Исаакович. Они мне глубоко антипатичны своим равнодушием к делу, к больным людям, низким интеллектом, если хотите, и с меня достаточно, если я им своей антипатии никогда и ни при каких обстоятельствах не пока-

зываю. Дешевить, лицемерить и рафинировать дружбу, которой не может быть, я не намерен. Вполне достаточно того, что я ровен со всеми и не предъявляю, стараюсь не предъявлять к ним повышенных требований. Разговор этот окончился ничем, как и все предыдущие.

А в ординаторской разгорались свои страсти. А Савич об этом ничего не знал.

– Ну куда ты прешь, Геннадий, – говорил Глейм Новикову. – Ведь ты же элементарно не знаешь ни туберкулеза, ни легочной патологии, ни, тем более, патологии послеоперационного периода. Подумаешь, Паньшин подал заявление, ну и Бог с ним! Он не хирург, и никогда им не будет (все это говорилось при Паньшине), человек это понял, и понял достаточно своевременно, и потому уходит, и правильно делает. Только я бы на его месте не лез бы в амбицию, и не будоражил вас, дураков, а ушел бы тихо-мирно после того, как была бы найдена замена. А этот ваш бунт смешон, не обоснован и не добросовестен. А надо быть честным. Шеф правильно делает, что ограничивает тебя в операциях. Научись выхаживать больных. Пойми хоть элементарно суть и смысл послеоперационного ведения.

– Ты, Гельмут, анестезиолог, и не лезь. Мы – хирурги, и наше дело – оперировать, а твое – вести больных. И нечего мне указывать – я в медицине не меньше тебя смыслю.

– Ты смыслишь, как дрыхнуть на дежурствах, когда больной требует активных мероприятий. Лучше бы поучился у Савича, как выхаживать больных.

– Да бросьте вы, ребята, – влезал Старшинов, – Савич сам здесь еще без году неделя. Его ближайшая задача – создать авторитет отделению. Со временем будет и нам давать операции. Я лично не торплюсь, а у шефа есть чему поучиться. Уж с этим-то никто спорить не будет.

– А ты готов перед своим дружком наизнанку вывернуться, да и вообще двурушничаеть – и нашим и вашим.

– Повтори, что ты сказал! – петушился Костя, – повтори!

– А ты меня не пугай, я не из пугливых.

– Ты зря не пугаешься, – вставлял Паньшин, – он из одного преклонения перед дружкой может и по морде съездить. А если он большой хирург, это еще не основание смотреть на нас, как на бессловесных.

В спор не вмешивался один лишь Белоусов. Он всего несколько месяцев работал в отделении. Был тих, робок, говорил сдавленным голосом и всего стеснялся. Виктор неохотно взял его на работу. Парня сразу после окончания мединститута оставили в городе, а Савич не любил людей с привилегиями. Не столько за то, что они их получали, сколько за то, что соглашались получать только потому, что теща Белоусова – главный врач медсанчасти меланжевого комбината – но он-то здесь при чем?

Замский написал страстную и гневную статью в газету. Написал. Дал подписаться врачам. Подписали начмед, Костя и Белоусов. Савич с Глеймом отказались. Наотрез.

Через несколько дней в отделение пожаловала корреспондент газеты. Толстая, энергичная тетка с лошадиным лицом. Кто-то ей сверху указал линию, которую она должна гнуть, а она игнула, игнорируя хладнокровно и факты, и мнения, и шкурничество с квартирой. Последнего она опрашивала Савича.

– Виктор Петрович, как вы расцениваете уход Паньшина?

– Естественный и физиологичный акт. Полная неспособность к выполнению профессиональных обязанностей, в сочетании с недобросовестностью и стяжательством.

– Поясните, не понимаю.

– Что ж тут не понимать.

Старшинов Костя – Константин Николаевич, ровесник и соратник Савича, поддерживал его всем, кроме личного примера, а ординатором был самым нерадивым. В основе его манеры строить из себя полупридурковатого увальня лежала тысячелетняя философия шута и юродивого, и перед убийственной наивностью ответов на предъявляемые к нему требования просто никто не мог устоять. В большинстве ситуаций он выглядел феноменально глупым, и накричать на него, обидеть чаще всего язык не поворачивался, и Савич не представлял здесь никаких исключений.

Кстати, Савича еще и Замский предупреждал, что Костю на работу в отделение брать не следует.

– Костя хороший парень, – говорил он. – Это, в своем роде, последний из могикан, но толку от него в деле никто не видел и не увидит никогда. Конечно, он очень удобный парень, в том смысле, что ему можно наговорить все, что угодно, а он все стерпит и скорее всего и обижаться не будет, словом, мальчик для битья.

Он ошибался, экспансивный и взрывной Замский. Под безобидностью этой скрылся двурушник и карьерист. И уж чего-чего, а перенесенных обид и оскорблений он никому не прощал. Он только в расчётах своих действовал наверняка, а если сомневался в успехе, то продолжал держаться в рамках дружбы и случая рассчитаться мог ждать десятилетиями. Но всё это, как и многое другое, выяснилось много времени спустя.

Евгений Алексеевич Смыков. Врач-анестезиолог. Ровесник Савича. Разбитной жуликоватый тип. Он сразу не понравился Савичу панибратским, запростецким обхождением, показной бравадой: море по колено, и всё могу. И уже задолго до первых операций стало ясно, что попивает он, и крепенько, и готов приволокнуться за кем попало, будь то медсестра или больная – ему все равно. И, как очень скоро выяснялось, нечестен в делах, нечист на руку. Легкомысленный и верткий, он и в операционной во время наркоза позволял себе выходки, которые, если и не удавалось спрятать, то невозможно было мотивировать. И тут свойственная ему наглость на некоторое, впрочем, весьма непродолжительное время, оставляла его, и на Виктора смотрели такие честные, такие страдающие глаза, и таким покаянием и муками совести веяло от всего облика этого жулика, что только и оставалось, что рукой махнуть. Прирожденный провокатор, он за спиной Савича смело разжигал страсти, настраивая против него других врачей, и никогда сам не оказывался замешанным в распри с начальством.

Намучился же Савич с этим типом, и рад был искренне, когда через несколько месяцев услуги Смыкова понадобились одному из институтов туберкулёза, и он уволился.

Савич был убежден, что перед собой, своей совестью интелли-

гентный больной ответственен за свое участие в собственном выздоровлении после операции. Ответственен он и перед хирургом, который его оперировал. Они сообщники, но врач сильнее, сильнее может быть, потому что когда на одном полюсе дефицит воли, на другом – избыток её. Может быть, потому что отвечать за себя всегда тяжелее, чем отвечать за другого, хотя оперированный больной, его состояние на разных этапах послеоперационного периода – это дело хирурга. А, стало быть, отвечать, нести ответственность, моральную или любую другую, приходится за себя, и бог знает как это всё сложно!

Во всяком случае, больной может себе позволить раскиснуть, прекратить активную борьбу за жизнь, сказать – Всё! Хватит! Я выхожу из игры. Лучше умереть, чем переносить всё это. И если при этом не удаётся добиться психологического перелома в его настроении – шансы на выздоровление падают катастрофически, и тут уж хирургу надо закатывать рукава, работенка предстоит тяжелая, выздоровлению противодействует психика, а это ого-го как много! Словом, если дух больного сломлен, а плоть сопротивляется, потеряно много, но не все. Возвращение к жизни, активной жизни, будет мучительным, долгим и обойдется дорогой ценой и хирургу, и пациенту. Савич видел больных, которые гибли только потому, что отказывались от борьбы, только потому, что наглухо замыкались в себе «запирали себя на все запоры», и достучаться до души пациента, зажечь хоть слабую искру сопротивления и борьбы, и злости становилось невозможным. Каких только красноречий не приходится переводить в таких случаях, к каким только доводам не прибегать!

И чего только не выслушаешь от пациентов в такие вот развеселые и для врача, и для больного минуты жизни. «Вам бы так!» – Это для определённой категории людей – стандарт, цветочки! Такого, бывает, наслушаться приходится, что только вздыхаешь тяжело, продолжая, между тем, методично делать своё дело.

Был у Савича больной, замученный шестью безуспешными операциями, выполненными в разных учреждениях страны, шестнадцать дней он при отличных показателях общего состояния пролежал неподвижно, не вступая ни в какие контакты, не отвечая ни

на один вопрос, отказываясь от приёма пищи и всех назначений. Единственное, что из него удавалось выжать, проявив массу терпения и сосредоточенной заинтересованности – это слова «я умираю». Впрочем, говорилось это спокойно, отрешенно и без всяких эмоций. Смотрели его и психиатры, и невропатологи, и консилиумов хватало, и чем больше возни вокруг больного затевал персонал, тем более замкнутым и неконтактным становился пациент. Наконец, Савич, притворяясь взбешенным, за грудки сорвал его с постели, проволоч по коридору к себе в кабинет, и задыхающимся, орущим шепотом (кричать громко было нельзя, к сожалению, из-за акустических особенностей больницы) выложил ему в лицо весь запас цензурщины, в диапазоне надписей на заборах, которых хватало в военном голодном его детстве. Потом он вытолкал ошеломленного покойника в коридор, и на этом умирание его кончилось. Больше (во всяком случае днем!) в постели его никто не видел. А причина оказалась простой элементарно. В одной из весьма солидных центральных клиник больному, отказав в операции, сказали, что из наркоза он не выйдет, не проснётся и всё. И превратился он сразу в простого, хорошего, нормального парня, без всяких заскоков и поворотов. И благодарен был искренне, потому что до этого несколько лет кровохаркал ежедневно, и по многу раз в день, и понять не мог одного, как получилось, что он полмесяца вел себя таким образом.

Конечно, случай этот не только пример того, чего может стоить неосторожное слово врача. Конечно, полочками психики нельзя объяснить все неудачи операций и послеоперационного периода. Существует неисчислимое множество и других объективных причин. Но ответственность больного за свое участие в собственном выздоровлении никогда и нигде не становится предметом обсуждения. Это моральная категория вне категорий, тончайшая материя, заключенная между двумя людьми, и касается она их двоих, и только. Здесь полная изоляция, духовное вето, которое может тонко ощущаться обоими только после выигрыша. А при проигрыше этот фактор и его роль в событиях может анализировать только один. И уж кому-кому, а любые выводы и заключения ему, уцелевшему, облегчения не приносят и не избавляют от запоздалого «Лучше бы я этого не делал! Не связывался!»

И есть судьба или нет, ничего уже исправить нельзя. И эта действительность страшнее любого страшного сна, потому что за сном всегда следует пробуждение и теплый душ житейских привязанностей – дружбы, любви труда, страдания – смывает ночные кошмары.

Володя Дегтярев двадцать девять лет. Механизатор. Скромный тихий человек. Женат, имеет двухлетнего сына. Привел его Старшинов. Большой близкий друг родственников.

– Виктор, посмотри, пожалуйста, ему везде отказали в лечении, даже в лучевой терапии. Говорят, очень запущенный случай. – Парень атлетического сложения, среднего роста, и, тем не менее, с первого взгляда ясно: тяжело болен. В последнее время не может лежать. Живет только стоя или сидя. В горизонтальном положении сразу развивается тяжелая одышка и цианоз. На рентгенограммах огромная опухоль, заполняющая все средостение, и только самые периферические отделы обоих легких видны в виде узких полосок воздушной ткани – все остальное занято опухолью. Операция. Вскрыты обе плевральные полости и рассечена грудина. Опухоль – огромная, деревянной консистенции, мало подвижная. Из-за ее величины не удастся определить контакта с окружающими тканями. Без большого труда удалось отделить опухоль от обоих легких – рыхлые спайки, дальше – мрак. Опухоль закрывает все, и сориентироваться, можно ли отделить ее от жизненно важных органов – сосудов перикарда, трахеи – не представляется возможным.

Короткое совещание. Рискнем! Терять нечего! Но и работать вслепую нельзя. Опухоль рассекается на четыре части и начато ее удаление кускованием. Это против онкологических правил, но что оставалось



*Операционная сестра
Вера Бакшаева*

делать? Нижняя половина опухоли огромная, тяжелая бутристая, удалена с трудом, но без происшествий. Пришлось прихватить с собой из-за глубокого прорастания хороший кусок перикарда – сердечной сумки. Короткий перерыв. Анестезиолог просит дать отдохнуть больному – восстанавливает изрядную кровопотерю. Настроение приподнятое. Появилась надежда на успех. Верхняя часть опухоли прошивается двумя толстыми лигатурами – держалки поднимаются вверх и начата препаровка от сосудов, с трудом отошли от аорты. Собраться, перевести дух. Связи с сосудами становятся все тесней – нарастает кровопотеря. Анестезиолог с трудом успевает компенсировать ее. Так. Дальше свободней, легче. Вдруг все затопляет черной вспененной кровью, и сразу остановка сердца. Рассечена правая безымянная вена. Два конца зияют в огромной мертвой ране, зажим.

– Второй. Мгновенно массаж. Лейте кровь! Струйно! Вера, систему для внутриартериального! Не останавливая массажа, свободной рукой иглу в аорту, держите! И качать! Массаж. Кровь в аорту. Ампула. Вторая. Третья. Массаж. Хлористый кальций в левое сердце. Массаж. – Ответ. Сердце работает. Кровопотеря не восполнена. Еще кровь в аорту. Еще. Анестезиолог:

– Можно продолжать операцию. Оба конца вены перевязаны. Старшинову:

– Натяни держалки и тупо пальцем отделять опухоль. И опять остановка сердца, массаж. Короткие движения ножницами. Остановка. Массаж. Так семь раз. Опухоль удалена. Операция идет три часа. Осмотр полостей. Анестезиологу:

– Можно зашивать? – Очень низкое давление! Частый пульс, аритмия. Кровопотеря не компенсирована. Кровь в аорту. Швы. Трехчасовая операция. Все вымотаны. Сразу после ее окончания опять остановка сердца. Непрямой массаж, переливание крови и полиглюкина в артерию бедра, и опять сердечная деятельность восстановлена. Только через девять часов больной пришел в сознание. Трахеотомия. Перевод в палату. Вес опухоли – один килограмм восемьсот девяноста семь граммов, гистологически – злокачественная тимома. Сутки прошли более или менее спокойно.

На вторые сутки Савич оставил дежурить Старшинова, оставил Веру (как чувствовал, что предстоит поработать), и сам остался, но завалился спать в своем кабинете. А в первом часу ночи в отделение пришел Гельмут, пришел по собственной инициативе – не спалось, всякие думы одолевали, и разбудил Савича. Виктор Петрович, больной уходит. Не могу понять в чем дело. Палата. Больной серый, влажный в бессознательном состоянии. Пульс несосчитываемый, аритмичный. Артериальное давление 60/20 мм ртутного столба. Дренажи! В дренажах сгустки крови и в обоих приемниках серозный экссудат. И все сутки был серозный экссудат. Все ясно. Бурное кровотечение. Наркоз прямо в палате. Какой там наркоз – просто смена трахеостомических трубок, и релаксанты, и вентиляция, и все! И прямо в палате (нет времени, возможности везти больного в операционную) Вера развернулась мгновенно, как только она одна и умела. Швы сняты, два расширителя, и в плевральных полостях огромное количество сгустков крови и жидкой крови и сердечная деятельность – одно название, трепетание, а не сокращения! И сразу кровь в восходящую аорту – литр, второй, третий и четвертый и только тут стало видно, что кровит дефект стенки подключичной артерии. Все ясно: она была повреждена в период низкого давления во время операции, и дефект сосуда затромбировался, но ненадежно. А потом, сутки спустя, при нормальном давлении тромб выбило током крови. Атравматическая игла. И-образный шов. И при хороших показателях операция заканчивается. Парень медленно, но поправляется. И опять демонстрация на хирургическом обществе. И опять триумф. И вопрос Старшинову:

– Костя, ведь ты меня сагитировал оперировать этого больного. Я полагаю, что ты был в нем лично заинтересован. Я тебя специально оставил дежурить, сам лег спать, полностью доверившись тебе. Стало быть, на тебя нельзя полагаться?

– Виктор, я же видел, как ты устал! Мне казалось, что всякая борьба напрасна, и только зря отнимает силы.

– Сволочь ты, Костя!

– Виктор, ну пойми, для меня это настоящее потрясение. Если

бы я хоть на минуту мог представить возможность благоприятного исхода. Ну правда – такого больше в жизни не повторится.

Нет, на него положительно было невозможно сердиться, такого большого, жалкого, встрепанного и растерянного. Дома нелады. Теща сущая ведьма. Жена у нее под влиянием, и сын полудебил. И во всем и всегда невезуха смертная. Каторга у парня, а не жизнь!

Ранней весной 1964 года Савича позвали к телефону:

– Алло!

– Санавиация! Виктор Петрович, нам позвонили из Р-ского района, там погибает больной туберкулезом. Легочное кровотечение. Я им предложила обратиться к вам.

– Чем же я могу быть полезен, Зоя Федоровна? Вывозить больных – это ведь ваша функция.

– Они говорят, Виктор Петрович, что он вряд ли транспортабелен. Кровопотеря очень большая. Если Вы сочтете возможным помочь на месте, то санавиация к вашим услугам.

Савич положил трубку, задумался. Заволновался. Вызвал Веру.

– Верочка, возможен вылет на операцию в район. Собирай все, что необходимо для операции, для наркоза. Летим бригадой: я, ты, анестезиолог, сестра-анестезистка. Постарайся учесть все.

– Междугородняя. Говорит главный врач районной больницы...

– Я в курсе, – перебил Савич, – расскажите все данные больного подробнее: сколько потерял крови? Что в легких?

– Передаю трубку лечащему врачу.

– Виктор Петрович, здравствуйте! Зимина Вера Сергеевна. Больной, двадцать семь лет, фиброзно-кавернозный туберкулез слева. Справа до последних дней было относительно чисто. Группа крови вторая, резус плюс. В течение суток при неоднократно возобновляющемся кровотечении потерял по нашим подсчетам около трех литров, кровь не переливали. Состояние очень тяжелое, и о транспортировке не может быть речи. Больной в отдельной палате районной больницы – рентген-кабинет и операционная на том же этаже.

– Хорошо! Я вылетаю с бригадой. Будем оперировать на месте, если возможно. Операционную прошу держать в готовности. Телеграмму на санавиацию прошу дать срочно. Все. Гельмут Карлович,

Владимир Федорович готовьтесь лететь со мной. Нет. Домой заезжать не будем. Нет времени. На станцию переливания крови:

– Приготовьте, пожалуйста, пять литров крови второй группы к выдаче. Мы заедем по дороге в аэропорт. Спасибо.

Два часа в воздухе. Районная больница. Знакомство с персоналом. Рукопожатия, лица имена, халаты. Ведут смотреть больного. Анемизированное, меловой бледности лицо, Беспомощность. Беспокойство. Выражение страха и отчаяния. Савич сказал:

– Знакомые все лица! Если мне не изменяет память, мы с вами как-то встречались.

– Вы меня консультировали в январе, Виктор Петрович, предложили удалять легкое... Кашель. Плевки крови. Осмотр. В обоих легких тотально влажные хрипы – аспирация! Пульс 130. Артериальное давление 90/65. Оперировать! Терять здесь нечего. Больной обречен.

– На операцию согласен?

– Согласен, Виктор Петрович. Что хотите делайте.

В ординаторской:

– Гельмут Карлович, ваше мнение?

– Больной тяжелый. Может остаться на столе. Но я за операцию.

– Владимир Федорович? – Тихим сдавленным голосом: – Оперировать!

В операционной. Ввод в наркоз. Интубация трахеи, и во введенную трубку сразу струей полилась кровь. Быстрее – поворот. Савич моется, ассистенты обрабатывают операционное поле. Гельмут – умница! Его не надо учить. Два-три вдоха мешком наркозного аппарата и электроотсос, два-три вдоха и отсос. Голос напряженный:

– Быстрее, Виктор Петрович, тону в крови. Куда ж быстрее? Разрез справа под лопаткой, без остановки кровотечения в ране (прикрыли салфетками, и все!); удаление легкого – потоки крови! Не до того. Тампоны. Тампоны. Быстрее.

– Гельмут Карлович, бронх пережат! Вздох облегчения. Анестезиологу с тревогой:

– Кровит?

– Сухо, Виктор Петрович! Можно не спешить. Действительно,

трахею не заливает кровью, дыхательные пути вне опасности, но продолжает кровить вся рана, вся зона отслойки легкого.

– Сколько крови перелил?

– Литр двести! Мысль:

– Мало! До операции огромная потеря, в трубку минут десять хлестало, да и у меня все без гемостаза. Течет кровушка, течет! Быстрее! Полтора часа. Операция кончена. Больному перелито три литра крови, и льют еще.

– Показатели?

– В порядке.

Савича шатает от возбуждения и усталости. Курить! Садить сигарету за сигаретой, жадно, взхлеб. Вечером у больного отек легкого. Работали, не присаживаясь, всю ночь. Вывели. Утро. Что делать? Бригада измотана. Сидеть здесь нецелесообразно. Бросить больного и улететь нельзя. В отделении полно дел, есть срочные операции, а выхаживание больного может потребовать многих дней. Кого оставлять? Владимира Федоровича? Опыта – ноль. Но внимательный, педантичный и глазастый, дьявол! Решено. Пусть остается. В больнице все есть: кислород, электричество, рентген-кабинет. Должен справиться. Они улетели. Белоусов остался, справился. Через шесть дней на вертолете привез больного в отделение. Больной поправился.

С этого и началось, вылеты в районы стали не то, чтобы уж очень частыми, но в году они вылетали до пяти-шести раз. Следующий вылет состоялся летом, вызвал один из самых отдаленных районов. Они полетели. Он, Гельмут, Вера и сестра-анестезист. Из хирургов брать было некого – время летних отпусков. У женщины тридцати двух лет абсцедирующая пневмония слева. Кровопотеря огромная. Но состояние оказалось лучше, чем можно было ожидать. Главный врач Тишин Савелий Демьянович – он же районный хирург. Стаж работы пять лет. Маленький, упитанный, круглый и равнодушный. Рентгенологически женщина не обследована. Несмотря на то, что дал бригаду, рентгеновский кабинет закрыт и персонал распущен. Группу крови определил только после отчетливых назиданий по телефону. За рентген-лаборантом послал с явной неохотой, и та явилась только после повторного вызова. Время идет, а он:

– Четыре. Я с вашего разрешения пойду домой, Виктор Петрович, если что понадобится у меня телефон.

– Нет, я с вашего разрешения хочу вас видеть здесь. Вы, если я не ошибаюсь, хирург, а я один не могу оперировать. Савичу хотелось многое ему наговорить, например, что бригада прилетела прямо с работы, можно было догадаться предложить хотя бы чаю. Если не сделали больной снимка, то можно было бы подготовить рентгеновский кабинет к осмотру.

– Как у вас со светом?

– Выключают в двенадцать ночи.

– Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы свет давали всю ночь.

– Это сложно, Виктор Петрович...

– А вы преодолите сложности, Савелий Демьянович.

Наконец, все утряслось. Больную взяли на стол, когда уже стемнело. Все шло нормально. Но когда легкое удалили, операционная кровопотеря приблизилась к полутора литрам, и надо было учесть потери крови и до операции. Ассистент попался – толк от него, как от ледоруба в кухонном обиходе. И хоть убейся, не удастся добиться сухости в полости, и начинает кровить вся поверхность, и чем дольше длятся попытки справиться с множественными точечными кровотечениями, тем больше больная теряет крови. Хирург взмок, рядом раздражающе и бесцельно топчется Тишин, а толку от него, как от сеттера в охоте на медведя. Гельмут психует: «Скоро? Скоро?» Что делать. Интенсивность кровотечения нарастает. Решение приходит сразу, как наитие свыше. Тампоны. Полость плотно тампонируется, двенадцать больших, с полотенце, марлевых салфеток надежно прижали источники кровотечения. Конец.

Сразу после операции Тишин исчезает со сноровкой фокусника. Он свое дело сделал. Утром, куря возле ординаторской, Савич прислушался. Шла пятиминутка, и Тишин, распекая кого-то, кричал, как он всю ночь не присел, спасал легочную больную – а вы тут мне!... Бригада потом долго веселилась – ну тип! Но что же делать? Советуются. Решают удалить тампоны в десять часов.

– Состояние больной неудовлетворительное, – констатирует Гельмут Карлович, – будить?

– Я думаю не надо. На искусственной вентиляции она скомпенсируется быстрее. Между тем при нормальной общей кровопотере привезенной крови не хватает для компенсации ее объема. И больная провела всю ночь с низким давлением и другими расстройствами. Перелили полиглюкин, плазму. Потом нашли доноров для прямого переливания, в том числе взяли кровь и у вымотанного и без того Гельмута Карловича – совпали группы. Состояние улучшилось, стало легче.

– Что же дальше, – задумчиво говорит Глейм. – Кислорода хватит до вечера, не больше, кровезаменители на исходе, лаборатория здесь – фикция. Не вытащить нам больную здесь, Виктор Петрович. К тому же с вечера света не будет, при необходимости мокроту даже не отсосем.

– Рентгеновский кабинет не ближе километра, – дополняет Савич, – не проще ли ее домой отвезти, в отделение. Слушай, Гельмут, а ведь это выход. Под наркозом на самолете и отвезем домой, а?

– Шутишь?

– Нет. Мне не до шуток. Если действительно бороться, а не успокаивать себя, не находить утешение в списке выполненных формальностей. Ведь не ради формальностей берем на себя эту самоугробилровку. У нее приличные показатели под наркозом?

– Да, вполне!

– Вот и хорошо. Отчего бы им испортиться во время полета?

– Ну что ж другого выхода, видимо, действительно нет. И с загоревшимся взглядом проснулся дух бойца и естествоиспытателя – попробуем!

Десять часов. Тампоны удалены. Сухо. Рана тщательно зашита. Вертолет в пути, и они ждут его. Он сел на пустыре в нескольких десятках метров от больницы. Больная на носилках. Трубка в трахее. Автомат ДП – невзрачная железная коробка, с постылым однообразием механизма вгоняет воздух в легкие. Вдох (пауза) выдох, вдох–выдох. Медленная тянется процессия: несут больную, несут автомат, несут баллон с кислородом, все как единое целое, которое разрывать нельзя, и так шаг за шагом, шаг за шагом. Так же не спеша устраиваются в кабине: шаг–больная–шаг–баллон. Вера, не су-

етясь, подвешивает капельницы, налаживает вливание сердечного коктейля, раскладывает в стерильных простынях шприцы, медикаменты, наркотики, чтоб все под рукой.

Полет. Час. Второй. Третий. Все по очереди следят за утомляющими прыжками индикатора железной дуры: вверх-вниз, вдох-выдох. Вдруг стон! Короткая паника. Замешательство. Пустяки. Перегнулся кислородный шланг. Рука на пульсе. Сквозь грохот мотора, Савич орет Гельмуту: «Как?» Большой палец – вверх, и на обоих лицах блаженно радостные улыбки.

Посадка. Аэропорт. Таким же путем, шаг за шагом, в реанимационную машину скорой помощи и тем же манером – на второй этаж в палату. Разбудили, сделали трахеотомию. И только после этого сдали больную со всеми инструкциями дежурному врачу, и домой – спать. Больная поправилась. Они обогатили свой бюджет пятью рублями – цена врачебного вылета. Поострили на эту тему. А весь этот полет, с его нервотрепкой, перегрузками, ошибками и находками стал тактикой. Потом не один десяток раз Савич тяжелые удаления всего легкого с повышенной кровоточивостью, когда все что ни делаешь, увеличивает кровопотерю и не дает главного эффекта, на сутки оставлял тампон в плевральной полости, и таким образом спас жизни десятков больных. И были десятки вылетов с операциями на месте и с поднаркозной авиатранспортировкой больных в отделение, и это были всегда стопроцентно обреченные люди, и большая часть их не только выздоравливала, но и возвращалась к труду. И менялись анестезиологи, но не менялась тактика, единственно целесообразная и мотивированная, и не было ни осложнений, ни смертей, связанных с транспортировкой, и Савич неоднократно писал и выступал и в печати, и на различных съездах, и конференциях, в том числе и весьма представительных, со своими предложениями по авиатранспортировке больных, экстренно оперированных в селе, и кто-то из видных реаниматоров даже приспособил к сему броский и в духе времени термин «реанимация в воздухе».

А как-то раз они прилетели в район, расспросили больного, и сразу и одновременно высказались: «Нет, это не легочное кровото-

ечение». Местные врачи усомнились, даже обиделись. Ну что ж, на то они и специалисты, чтобы разрешать сомнения и свои, и других. Взяли больного за экран рентгеновского аппарата. В легких чисто. Это, в общем, не доказательство, но лишний плюс предположению в пользу кровотечения желудочного. Еще раз посоветовались бригадой, и Савич решил оперировать живот. Местный ведущий хирург желудочной хирургией владеет, но оперировать отказался, уперся на своем – кровотечение легочное, и все. Пришлось брать его ассистентом. Во время операции собрались сзади десятков врачей, не меньше. Ждали, напряженно дышали в затылки. Вскрыта брюшная полость, сразу правой рукой ощупывать желудок, под откровенно раздражающий шепот: «Нет ничего? ничего нет!»

А Савич, с огромным, снимающим пригибающую вниз тяжесть удовлетворением, ощупывал в глубине раны что-то и не торопился извещать о победе, и шепот сзади стал еще отчетливее и совсем громко: «Интересно, что они дальше делать будут?». – И опять: «Нет ничего!»

– Есть! – Тихонько так, злорадно, как он один умел (сволочной мужик все-таки) сказал Савич, выводя в рану огромную язву малой кривизны желудка. И Гельмут, с угадывающейся под маской улыбкой, бесшумно аплодирует и подмигивает радостно. Он управился с резекцией желудка за полтора часа, хотя и забыл (основательно), как это делается. А потом они долго гуляли по поселку. Сходили на речку. Выкупались. Радовались, как дети. И сравнивали, насколько другим было бы все, если кровотечение оказалось бы легочным. Какой физической к душевной измотанности стоило бы оно им всем, а так-то все согласны хоть через день летать. Савич потом звонил в район, беспокоился, но больной прошел без осложнений.

Белусов стал хорошим хирургом, ровным, вполне зрелым, думающим. У него была неоценимая способность буквально вытаскивать с того света тяжелых больных, и с больными он умел поставить так, что ему доверяли. Он сумел увеличить на одного человека счастливое число врачей, от одного общения с которыми больному становится легче. Поколебалось твердое убеждение Савича, что хорошим легочным хирургом может стать только врач, имеющий

навыки в общей хирургии. И на седьмом году работы Савич представил его аттестации, и он стал хирургом первой категории. Он сделался в отделении правой рукой Савича, заменял его во время отпусков, и, в общем, вполне прилично управлялся с делом.

А тут вдруг этот случай, дикий случай, нелепый и трагический. Савич тогда болел и пришел на работу только потому, что считал необходимым поглядеть двух больных после нестандартных операций. Тут выяснилось, что на операцию подготовлен Володя Савин, девятнадцатилетний красавец, единственный мальчик, сын двоих учителей из района. Вообще-то Савич в свое время решил его оперировать сам, но забыл об этом предупредить Белоусова. Ну а тут он решил, что не стоит отменять операцию. Вмешательство самое заурядное, и Белоусов таких операций делал немало. У мальчишки была огромная казеозная туберкулезная железа справа, фиксированная к трахее. В принципе, если не радикальничать, опасностей никаких. Он и сказал об этом Владимиру Федоровичу.

– Я предупреждаю вас от всяких попыток удалить железу целиком – совершенно очевидно, что это невозможно. Иссечете наружную стенку, выскоблите гнойное содержимое, и все. Буду здесь, пока не кончится операция.

Его знобило. Он прилег на диван в кабинете. Ждал. Потом задремал. Не сон – болезненное полузабытье. Вдруг зовут в операционную.

– В чем дело?

– Не знаю, Виктор Петрович. Не могу разобраться. Я и вскрыл железу, и удалил казеоз, но нижний полюс железы образует очень глубокий карман. Я начал его отпрепаровывать – вдруг сильнейшее кровотечение.

– Большая кровопотеря?

– Большая. Полная полость крови была, пока я прижал источник. Помойтесь, пожалуйста, Виктор Петрович.

Пришлось мыться. Дело оказалось скверным. Между трахеей, верхней полой веной и корнем легкого зоной, спрессованной в один неразделимый рубец, какой-то огромный источник кровотечения, и пока Савич осматривался, операционное поле несколько раз за-

ливало темной кровью. Значит порвана недоступная для манипуляций или задняя стенка верхней поллой вены, или легочная артерия. Что делать? Савич вскрывает перикард, выделяет внутри сердечной сорочки правую легочную артерию. Пережимает ее. Кровотечение остановлено. Шит разорванный рубец над местом кровотечения. Больше ничего сделать нельзя. Кровопотеря огромная, и расширять объем операции – неоправданный риск.

Савич закончил оперировать в состоянии близком к полному изнеможению. Казалось, еще несколько минут и не выдержит, свалится в операционной. Пошел к себе в кабинет. Лег. Измерил температуру – 36,8.

На следующий день у мальчика двусторонняя пневмония. И началось: трахеотомия, аппаратное дыхание, и в конце концов – смерть. Всего четверо суток парень жил после операции.

На разборе, предшествующем патологоанатомическому вскрытию, Савич буркнул: «Не для протокола!..» И пошел выкладывать все, что по этому поводу думал. Много успел сказать, может быть, даже гораздо больше, чем следовало, словом, выдал он хирургу в полной мере и в полном соответствии с заслугами. И возражений выслушивать не стал, потому то потрясен был этой смертью и выслушивал беспомощные объяснения раньше, и не мог понять, за каким чертом понесло хирурга в эту зону после того, как он был предупрежден, что лезть туда опасно, бессмысленно и недопустимо. Владимир Федорович вряд ли нуждался в этом беспощадном анализе, и сам переживал страшно, но он-то ведь, Савич, руководитель, и он обязан высказать врачу все.

Через несколько месяцев Белоусов уволился. Ушел в анестезиологию после восьми лет работы в хирургии.

Отношения Савича с хирургическими кафедрами медицинского института были сложными и в математическом изображении представляли собою весьма непостоянную величину, с резкими скачкообразными колебаниями, от идиллических до их прямой противоположности, на протяжении длительного времени, а потом стали трагическими для него лично, и ничего уже нельзя было исправить. Впрочем, во всем виноват был он сам, потому что характер имел

самый злобный, и никоим образом никогда не упускал возможности продемонстрировать свое и без того неоспоримое для всех преимущество в вопросах легочной хирургии. И ему очень нравилась, вдохновляла его обстановка остренького скандальца, часто складывающаяся его стараниями в недрах хирургического общества. Хирурги ждали его выступлений, как манны небесной, потому что кто же откажет себе в удовольствии посмотреть на конфуз кафедры, обеспеченный и не клиникой даже, а простыми практическими врачами.

Когда одна кафедра в чем-то переплевывала другую, то дело кончалось елейным прокламированием поздравлений, кафедры расшаркивались друг перед другом и истекали в слащаво-приторных комплиментах, и смотреть на все это было тяжело и безрадостно. Другое дело, когда ученые были вынуждены поздравлять практическое учреждение, потому что другого выхода у них не было, а что они при этом думали и как себя чувствовали, оставалось только догадываться, дорисовывать в своем воображении, но этим-то и занималась аудитория, и занималась не без успеха.

Впрочем, ставили они с Глеймом и вопросы острые, спорные, и тут уж все профессора, объединившись, нападали на них, а они были убеждены в своей правоте, и драки бывали жестокими, и всем было интересно. Собственно хирургических клиник мединститута было три. Две из них легочной хирургией не занимались, и активно противостоять отделению Савича могла только кафедра профессора Веймера.

Впрочем, это не совсем так. Вначале кафедра госпитальной хирургии, заведующий А.В. Овчинников, базировалась в краевой больнице, и там было отделение торакальной хирургии, в котором работал и главный хирург Ю.И. Елисеев. Но Овчинников старел, шел к пенсии, в торакальную хирургию не вмешивался, и под влиянием Елисеева отделение областной больницы нет-нет, да и обращалось к Савичу за помощью, и он оперировал там, и делал операции, которых они не делали, и это случалось не так уж часто, но все-таки случалось. И он им показал и плеврэктомия, и они начали ее делать, и межбронхиальный анастомоз и трансперикардальную

резекцию культи бронха – очень сложное вмешательство последних лет, которое в то время не вышло из стен клиники, которая его разработала, а потом об этом много писали и в газетах, и везде, и автор Л.К. Богущ стал лауреатом государственной премии, наряду с другими хирургами, как принято выражаться, внесшими свой вклад в разработку операций на трахее, бронхах, бронхиальных культах. И двум другим профессорам втайне даже нравилось, когда Савич корректно (не дай бог, чтобы что-нибудь такое!) ощипывал профессора Веймера, самого популярного, самого маститого и самого плодовитого из всех. Но честь мундира обязывает, и они дружно поднимались, как по кличу: «Наших бьют!». И хоть и кривя душой, но подерживали своего, который выглядел далеко не лучшим образом.

Как-то в разгар отношений (средняя величина от теплых до идиллических) приходит ученик Веймера к Савичу. Он слегка заикался, этот парень, и Савич ему в глубине души посочувствовал, но дослушать до конца его было тяжело.

– Дело вот в чем, Виктор Петрович. Нас с шефом интересуют концентрации в крови легкого антибиотиков, введенных внутривенно. Мы сейчас не имеем возможности поставить работу достаточно широко, потому что легочных операций у нас немного, а материал желательно набрать быстро.

– Как вы себе это представляете?

– Я буду вводить антибиотик, ну, скажем, пенициллин в легкое иглой средней толщины перед самой операцией, а потом будем изучать концентрацию в удаленном вами препарате.

– Так, – протянул Савич, – интересно... в какое же легкое вы будете вводить пенициллин.

– Конечно, для чистоты опыта желательно в противоположное больному, но если вы будете возражать, то можно, на худой конец, и в большое. Это очень интересно. Вы представляете себе перспективы такой работы. Главное, это совершенно новая постановка...

– Вы знаете, ваша работа действительно может представлять большой, и даже чрезвычайный интерес... для прокуратуры. Да-да, вы не ослышались. Именно для прокуратуры. Я нахожу ваше предложение лишенным морали и бесчеловечно бессмысленным. При-

ти ко мне с такими просьбами вы могли, только не зная вопроса совершенно, не понимая аэродинамики поднаркозного дыхания под повышенным давлением, но это вас не извиняет, потому что ваша идея чревата осложнениями и смертями. Не перебивайте меня. Я вас выслушал. Теперь вторая сторона. Вводить в здоровое легкое антибиотики – за такую идею просто презирать вас – недопустимо мало. В больное? Ну хорошо, допустим, что это действительно безопасно для больного, хотя на самом деле, это далеко не так. Если я введу лекарство в долю, подлежащую удалению, то концентрация его в препарате даст абсолютно недостоверный результат. Значит, для получения достоверных результатов и чистоты вашего опыта я должен для вас резецировать еще и здоровый кусок. И не морочьте мне голову, что ваше появление у меня мог санкционировать Веймер. Он серьезный и глубокий исследователь, и вы пришли сюда только потому, что Веймер не позволил вам заниматься этим безобразием у себя в клинике. До свидания.

Савич знал, что его прислал Веймер. Ни минуты не сомневался в этом. А в последнем заявлении содержалась своеобразная, на его взгляд, дипломатия. Его бесконечно возмущали такие вещи. Но ведь все кругом твердят, что надо быть дипломатом. Дипломатия его – эта наивность финала – не принесла пользы. Стрелка отношений скакнула вниз по шкале и остановилась на «холодно». В этом делении она продержалась три месяца, чтобы потом медленно поползти вверх. Как-то Савича позвали к телефону.

– Веймер!

– Виктор Петрович? Здравствуйте. Наша клиника долго изучала возможности хирургической помощи больным с легочными кровотечениями. Материала у нас пропасть. Но мы бы хотели дополнить наши данные результатами операций у больных туберкулезом, оперированных на высоте кровотечения.

– Да мы, Израиль Исаакович, на высоте кровотечения почти не оперируем. Необходимость такая бывает нечасто. У нас совсем иная тактическая постановка. Мы стараемся добиться консервативными средствами остановки кровотечения и только потом даем наркоз.

– Ну зачем же сейчас о деталях? – с явным раздражением в голо-

се. – Вопрос в принципе – можете или нет! Если можете, я пришлю к вам своего ассистента.

– Присылайте, Израиль Исаакович, посмотрим вместе с ним.

Пришел молодой симпатичный парень, знакомый Савича. Все встало на свои места. Он рассказал конфиденциально сугубо, что клиника за два года оперировала на высоте кровотечения всего семь раз. Четверо больных умерли. Шеф недоволен, потому что надеялся «открыть Америку», а материала не хватает на приличную статью. Они вдвоем пересмотрели все операционные журналы Савича, нашли троих больных, оперированных на высоте кровотечения. После остановки кровотечения оперировано шестнадцать больных туберкулезом и двенадцать с нагноительными процессами. Савич еще раз предупредил о том, что он не сторонник операций на высоте кровотечения. Что все эти истории болезни могут быть разработаны только в интерпретации полностью соответствующей истине. Тот пообещал соответственно информировать шефа.

Через некоторое время Савич прочел в одном из хирургических журналов: Профессор Веймер И.И. с соавторами: «Операции на легких на высоте легочного кровотечения». Из статьи следовало, что профессор воспользовался материалами Савича по экстренным операциям у больных туберкулезом, их оказалось почему-то двенадцать, и все они оперированы на высоте кровотечения, а умерло из них четыре. Профессор же оперировал тридцать два больных с легочными нагноениями, и умерло три. Глаза можно было не протирать. Щипать себя тоже не стоило. Это была фальшивка в чистом виде. Значит он, профессор, взял гнойных больных Савича произвольно добавил к ним же недостающее до тридцати двух число и вывел среднепотолочную смертность. И просто наврал в конце концов, что все эти больные оперированы на высоте кровотечения, потому что из их общего числа на высоте кровотечения оперированы были только десять. Ему тогда уже надо было написать в редакцию журнала и поднять скандал. Он сдешевил, и этого не сделал. И зря. Потом к портрету профессора начали добавляться новые красочные детали.

Профессор, его клиника два года «разрабатывали проблему» –

убедились, какое это тяжелое, мало благодарное и выматывающее занятие. Наконец итоги подведены. Жульничество состоялось. И пусть в статье нет ни одного нового положения – всего лишь анализ фактов, слабый и бездарный анализ, да и не самих фактов, а произвольных цифр, какими бы их клиника хотела видеть. И по клинике прогремел лозунг профессора: клиника закончила разработку темы! Отныне мы этих больных принимать не будем. Сказано – сделано. После этого их же больные, оперированные и дефектно оперированные ими, могли благополучно умирать на крылечке клиники от тех же легочных кровотечений, которые в послеоперационном периоде дарила больным хирургическая безграмотность шефа, – их не принимали. Клиника закончила разработку вопроса. И больные эти доставлялись скорой помощью в отделение Савича. И не всех их удавалось спасти. Мотивы отказа были однотипны: клиника принимает только железнодорожников, потому что ее базой является железнодорожная больница. Все это было гнусно. В клинике работников железной дороги можно было сосчитать по пальцам. Клиника разрабатывала новые проблемы, и они клали больных, соответствующих высоким целям планам и устремлениям клиники.

– Слушай, Юлий Иванович, что же это делается, – говорил Савич главному хирургу области по поводу статьи Веймера. Ведь этому же нет названия. Ну почему мы об этом знаем и молчим. Что нам мешает высказаться хотя бы на хирургическом обществе. Их вежливость и реверансы?

– С этим не надо торопиться, Савич! Я подбираю материалы, и бой будет и не на хирургическом обществе, потому что там-то драки не получится. Этот вопрос надо решать в инстанциях официальных. Я жду подходящего момента. А разоблачения по мелочам ничего не изменят. Просто могут тебе создать обстановку невыносимую для работы. Уйдут тебя и все. И как не был.

Камардин Николай Аристархович – среднего роста, вылощенный всегда по моде и с иголки одетый, блестящий аристократ и артистичный во всех своих проявлениях человек, тонкая бестия, умница, интеллеktуал, эрудит. Он хорошо оперировал, четко, артистично, умно. В клинике Веймера – это была единственная заслу-

живающая внимания фигура, всегда незаметно, ровно и настойчиво оттираемая широким плечом профессора на задний план. Он тяжело переживал свою зависимость от ограниченного и малопочтенного деятеля, но уж как никто блистал на хирургическом обществе, и от его саркастических реплик и ядовитых заключений, и точно и безжалостно поставленных вопросов не у одного докладчика в прохладной атмосфере аудитории лоб и руки начинали лосниться от холодного и обильного пота.

И вот как-то раз Савич обнаружил себя его попутчиком, и они долго шли по ночному городу, и Николай Аристархович разоткровенничался:

– Я вам в какой-то степени даже завидую, Виктор Петрович, – слегка грассируя, говорил он. – Вы самостоятельны во всех своих хирургических уклонах. У меня другая ситуация. Шеф ревнив к легкой хирургии, и мне оперировать приходится редко, а так хотелось бы. Я недавно интересные операции видел в Москве. Но для нас это пока на длительный срок недостижимо. Я имею ввиду операцию межбронхиального анастомоза, иногда и без резекции легочной ткани. Это прекрасно, но ни я, ни вы никогда этого не будем делать.

Савич слушал и не верил своим ушам, своему такому внезапно, помрачающему рассудок, невероятному, сверхчеловеческому счастью. Ему хотелось лечь на шуршащую поземку и в упоении тихого экстаза блаженно и с переливами смеяться, дрыгать ногами, обнять весь мир, такой уютный, милый, щедрый, наполненный добрыми людьми, бесплатно и безвозмездно дарящему добро чуть ли не первому встречному. Он посматривал на шагающего рядом доцента, и мысли его разбегались в разные стороны, как ноги в коньках у ребенка, первый раз вставшего на лед.

Дело объяснялось просто. Года два назад Веймер удалял долю двадцатилетней девушке. Это была нижняя доля слева, и профессор, удаляя ее, прошил главный бронх так, что его просвет сузился до толщины спички. Через два года мучений, многократных обращений в клинику и бесконечных отписок в комиссию ВТЭК, курорты, физиотерапевтические кабинеты, гнусных рекомендаций выйти замуж и

родить, женщина пришла к Савичу. Савич из литературы знал, что в СССР ни одной резекции бронха и анастомоза по поводу послеоперационного сужения сделано не было. Не было также и ни одной попытки анастомозировать – сшить бронх верхней доли слева с главным. И он прооперировал девушку. А к этому времени послеоперационный срок уже приближался к трем месяцам, и состояние ее было просто превосходным, и исчезли, канули в грустное прошлое все ее жалобы и тягостные ощущения, связанные с дефектной техникой оперативного вмешательства. Поэтому невольная рецензия Камардина, предпосланная к тому же демонстрация на хирургическом обществе (а он, если раньше и колебался, то теперь твердо решил: «всенепременно ее демонстрировать, чего бы это ни стоило!» а стоять это ему могло много!) повергла его в состояние несоизмеримого блаженства.

И демонстрация эта состоялась. И не было названо ни учреждения, ни рук, которые обеспечили послеоперационное осложнение – но в этом и не было необходимости – все итак знали, чьих рук это дело. И больная, когда ее расспрашивали и разглядывали специалисты, брякнула, нашарив глазами в президиум: «Ну вот, Илья Исаакович, а вы говорили, что меня только замужество вылечит». И эта реплика, и вся демонстрация были разорвавшейся бомбой. До такой наглости еще никогда и никто не доходил. И Веймер, бледный, с перекошенным лицом, бормотал свои поздравления оператору, и беспомощно фантазировал Камардин, что от операции можно было и воздержаться, и попробовать электрокоагуляцию суженного участка через бронхоскоп.

Вскоре Савич описание этого случая направил в журнал «Грудная хирургия», и его напечатали, и начиналась статья с фразы: «В отечественной литературе нет сведений об операции межбронхиального анастомоза, выполненной по поводу послеоперационного стеноза бронха, и о возможности анастомоза верхнедолевого бронха слева с главным».

Впрочем, впоследствии таких бомб было много, и многие предрекли: ну теперь все. Теперь держись. Уж теперь они за тебя возьмутся. Но время шло, и ничего не происходило. Он продемонстрировал двух больных, которых оперировал с пищеводно-бронхиальными

свищами, после того как совместной консультацией Веймера и Овчинникова, оба больных были направлены на операцию в институт пульмонологии в Ленинград.

Однажды Веймер демонстрировал девочку, которой по поводу бронхоэктазов удалил нижнюю долю справа, а через полтора года слева. Еще через месяц Савич сделал доклад, в котором подводились итоги шестидесяти восьми операций, выполненных одновременно с двух сторон, и вывел на сцену и показал аудитории восемнадцать больных, находящихся в это время на лечении в отделения с разной длительностью послеоперационного периода. А еще через некоторое время демонстрировал мальчика, оперированного по жизненным показаниям, у которого одновременно с двух сторон были с успехом удалены три доли легких, т.е. значительно больше того, чем делалось. После таких демонстраций и докладов Савича, как счастливую шлюху, дожидались и тискали, и целовали практические хирурги, и восторг этот был искренним и периодами достигал степени преклонения, и, конечно, это было приятно, и это было своеобразным моральным вознаграждением за каторжный труд и бессонные ночи, и убийственные перегрузки экстремальных ситуаций. Но к чему лицемерить – это было вознаграждением, и он именно так, может быть, пусть и извращенно, принимал это, хотя обо всех этих вещах никогда и не думалось и не мыслилось до тех пор, пока все тяготы дела не оставались далеко позади.

И Савич принимал реверансы ученых и почести коллег практических врачей по-разному, и это было понятно. Но однажды разразился откровенный скандал. Клиника Веймера предложила тематическое общество с представлением материалов по хирургии легочных кровотечений. Савич предложил включить свой материал в своей интерпретации на ту же тему. Председатель общества согласился. Ассистент, выступавший от клиники, прочитал статью Веймера, а Савич представил свой материал и диаметрально противоположное отношение свое к проблеме. И это все было сносно. Никаких разоблачений по поводу дутых цифр не было. А потом в заключение был обнародован сюрпризец – операции в селе и поднаркозная транспортировка больных в условия ЛХО (легочное хи-

рургическое отделение), и тут-то и разразилась буря. Бледный от бешенства Веймер не говорил, он кричал и давился собственным криком – слыханное ли дело! Транспортировать по всем канонам медицины нетранспортабельных больных! Криминалистика. Уголовщина. Позор. Камардин сказал, что скоро мальчишки, не знающие и не понявшие главного – ответственности в хирургии – чего доброго начнут оперировать в самолетах, и пора облздравотделу вмешаться, и властью своей остановить зарвавшихся операторов, и, в конце концов это просто наглость. Виктор сидел, оглушенный скандалом, потому что таких масштабов скандала он не мог себе представить. Сидел и слушал, и все выступающие высказывались в таком же духе, и он знал точно, что кто-кто, а уж этот-то Камардин знает на чьей стороне правда. Уж он-то слишком умен, чтобы не понять главного, что другого выхода просто нет, и при любом риске ничего другого не остается. Ничего. И он видел смеющееся и восторженное лицо Гельмута, и как он его прятал от аудитории, чуть ли не под стол. Потом Виктору повторно предоставили слово:

– Я не могу понять одного, – начал он. – Как это достаточно грамотные, образованные современные люди не могут понять, что найденное и осуществленное нами решение является спасительным для больного и единственно целесообразным. Нас можно критиковать. Нам можно угрожать. Можно принимать или рекомендовать решения административного плана. Нельзя сделать только одно: убедить нас в том, что мы не правы. Наша правота неоспорима. Она проверена и доказана жизнью. Это не наука, это практика. Практика тяжелая, мучительная, единственно возможная на современном этапе. И мы будем летать, и будем спасать больных, совершенно вне зависимости от того нравится это мединституту или не нравится. И нечего нам угрожать карами, облздравотделом и даже уголовной ответственностью. Сами по себе эти вылеты достаточно говорят о том, что мы не из слабонервных, и провокационные выводы не повлияют на нашу решимость продолжать полезное дело. И в заключение он сказал глупость:

– Мы не сомневаемся, что значительная часть того, что сказано по нашему адресу, продиктовано крайним раздражением нашей

деятельностью. Товарищам из мединститута больше всего на свете хотелось бы вообще нас не видеть и не слышать наших выступлений. Как раз именно это я и хочу вам пообещать. Ноги нашей здесь больше не будет. И по поводу самых мрачных прогнозов доктора Камардина: если понадобится, и не будет другого выхода, то да, будем оперировать в самолетах. У меня все.

Завершивший полемику председатель, старейший хирург, бывший директор Мединститута доцент Рахтамов, сказал:

– Судить о целесообразности предложения Савича и Глейма я не берусь, не считаю себя достаточно компетентным. Что касается заключительного слова Виктора Петровича, то оно, к великому моему сожалению, противоречит всем моим представлениям об этом человеке – выступление некорректное, грубое и неинтеллигентное. Я глубоко сожалею о несдержанности, которую нам здесь продемонстрировали. Возражать было нечего. Старик был во всем прав.

При выходе из аудитории Савича поймал за рукав Веймер, просил без него не уходить.

– Что же вы делаете, Виктор Петрович? – говорил он минутой позже, – ведь это же ужас. Неужели вы не понимаете, какому риску вы подвергаете себя – мыслимое ли дело – оперировать легочное кровотечение в районе? Везти под наркозом! Да знаете ли вы, что будет, если больной умрет в самолете? Предполагали ли вы такую возможность? Ведь даже я, при самом великолепном отношении к вам, а ведь вы знаете, как я к вам отношусь, если я буду председателем комиссии, разбирающей этот случай, даже мне, мне не удастся замять скандала. Я не сумею найти ни одного довода в вашу защиту. И он долго увещевал его в том же духе, нежно и бережно – прямо отец родной. «И с чего это мне, грешному, столько любви и внимания», – думал Савич, – чем я только заслужил?

– Я остаюсь при своем мнении. Летал и буду летать. Возил больных и не брошу этим заниматься. Что решит комиссия – мне все равно. Если умрет больной – мне все равно. Пока с меня достаточно сознания своей правоты. И будет время, вам придется с этим согласиться. Вам, а не мне.

Владимир Иванович Суслов, крупный за сорок лет мужчина, с

изуродованным осколком лицом. Воевал. Служил в полковой разведке. Был тяжело ранен, долго скитался по госпиталям. Врачом стал после войны. Работал в клинике известного сибирского профессора хирурга. Судьба столкнула их так. В окраинном, самом крупном городе области Б-ке, выстроили современный тубдиспансер, запланировали хирургическое отделение, кое-как собрали штат, а его, хирурга первой категории с большим опытом работы в общей хирургии, поставили заведовать. Он приехал к Савичу на четыре месяца учиться, привез анестезиолога и операционную сестру. Из клиники в Красноярске в свое время ушел, потому что на него давили: «становись ученым». Пиши диссертацию. Он диссертацию писать не хотел. Ученым себя не считал. Его ценили как прекрасного хирурга с отличной техникой, но пришлось уйти. Ушел без обид и претензий. Стал работать в Б-ске в общей хирургии. Не ладил с коллегами. Предложили заведовать легочной хирургией, решил взяться, привел его в отделение Елисеев Юлий Иванович, главный хирург области.

– Виктор Петрович, – говорил он после того как состоялось знакомство, – Предложил Владимиру Ивановичу специализироваться у вас на рабочем месте. Мы с ним не мудрили и решили, что так будет эффективнее. Это, кстати, совпадает с его настроем полностью. Как вы?

– Конечно, я не против. Только мне кажется, что удобнее будет и полезнее для дела приезжать бригадой.

На том и договорились. Так они и появились в отделении. Гельмут Карлович натаскивал анестезиолога, Савич – Сулова, Вера – операционную сестру. С Владимиром Ивановичем они подружились. Он много рассказывал о клинике, в которой начинал на фронте, о госпитале. Виктор присматривался к нему, увидел, что оперирует парень прекрасно, уверенно и красиво. Чувствовалась школа и серьезная. На втором месяце Владимир Иванович самостоятельно удалял долю. Оперировал решительно, энергично и красиво. Савич стоял за спиной, пару раз корректно посоветовал, смотрел, радовался, Сулов закончил операцию возбужденный, счастливый с блестящими глазами, почти пьяный от азарта и радости. Савич поздравил. Сказал в ординаторской, хохотнув, коллегам:

– Вот так надо оперировать! Легочному хирургу хорошая школа общей хирургии нужна. А вы говорите... Ну поздравляю, Владимир Иванович! С почином! Суслов подошел к концу дня:

– Приглашаю вас с Гельмутом в ресторан.

– С удовольствием, Владимир Иванович, событие того заслуживает. Только сегодня вы останетесь с больным дежурить, а когда не останется сомнений, что все пройдет «по науке» тогда пожалуйста! В ресторан они пошли на следующей неделе. Пили коньяк. Савич предложил первый тост за успехи «именинника» в легочной хирургии.

– Я преклоняюсь перед вами, – говорил захмелевший Суслов, – такой организации, такой техники я никогда и нигде не видел.

Савич сидел, морщился. Не любил откровенной лести. Суслов заметил это:

– Да вы не подумайте, что я подхалимничаю, Виктор Петрович, я просто обязан это сказать Вам... Гельмут вмешивался, пытался перевести разговор на другие темы. Улыбаясь, показывал глазами на роскошную блондинку за соседним столом. Выпили еще. Оркестр заиграл танго, темное, как вечер при свечах, и Суслов, слегка шатнувшись, встал и пошел ее приглашать. Она отказала. Он ей начал что-то доказывать. Говорили они долго. Виктор услышал последнюю фразу: «Тогда я спою для вас»... Она пожала плечами. Он посмотрел на нее застывшим каким-то взглядом, вздохнул глубоко. Запел. Приятели онемели. Ресторан весь затих, все смотрели, вытягивая шею. Это был необыкновенно мощный, глубокий, мягкий баритон, ближе к басу. Он рокотал, переливался, наполнял собою все пространство зала, отчетливо и сладко давил на барабанные перепонки: «И пуля-дура вошла меж глаз ему на закате дня. Успел сказать он и в этот раз: Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня?!»

Голос смолк. Владимир Иванович, бледный, осунувшийся, галантно поклонился блондинке, сел. Ресторан рукоплескал весь. Аплодировали даже джазисты. Руководитель их, лысоватый спортивный мужчина, сел к их столику, протянул руку. Познакомились. Предложил спеть под джаз. Суслов отказался.

– Ну выдал ты, – восхищенно протянул Савич, – мы с Гельмутом аж одурели.

К столику подходили люди, просили спеть еще, Виктор ерзал, мучился популярностью компании, в которую попал. Гельмут сиял белозубой улыбкой, разливал коньяк.

– Мне карьеру пророчили большую, – говорил Суслов. В восемнадцать лет я в консерваторию собирался в Москву. Учился петь до этого года четыре. Не пришлось – война. А после этого – Суслов тронул уродующий подбородок шрам – и думать о карьере певца бросил. Пошел в медицину.

Они сидели до самого закрытия, выпили изрядно, и разговор перескакивал с предмета на предмет, и блондинка посматривала на них заинтересованно и с улыбкой, адресованной конечно же красавцу Глейму. Они острили над ним. Виктор шутливо соболезнавал Суслову. Заговорили о будущем отделении, и Владимир Иванович попросил их приехать к началу на первые операции, и они согласились.

Они приехали с Гельмутом. Восхищались больницей, расположенной за городом в лесу. Обошли отделение, второй этаж корпуса. Сделали обход. Отобрали на операции восемь больных. Савич прооперировал двоих, остальных ассистировал Суслову. Они работали восемь дней. Все шло отлично, и они уехали с твердой уверенностью, что дело пойдет. Отделение в Б-ске начало регулярно работать. Чрезмерной активности Суслов не проявлял. Но шестьдесят–семьдесят операций в год они делали. И пять–семь раз в год он вызывал Савича оперировать крайне тяжелых больных. И Савич и ездил туда, и летал на самолетах, и оперировал. А выхаживать Суслов умел, казалось, совсем безнадежных. И у него дело несколько лет не ладилось с коллективом врачей. Шли к нему отпетые и отовсюду выгнанные. И он не умел с ними себя поставить, мельчил. Они его не уважали почему-то и не боялись совсем. И молодежь, которая появлялась, очень быстро, может быть, под влиянием отпетых, становилась в оппозицию к заведующему, и за несколько лет сменилось много народу, и многих пришлось гнать за беспутство и бесчинства и пьянство на работе. А потом нашлось несколько неплохих парней, и коллектив сложился окончательно. Но на это ушло семь лет.

А теперь самое время оставить в покое Савича. Пусть он там

гнется за операционным столом или гоняет по Горному Алтаю, или кропает стишата, или коротает время в кругу милых его сердцу друзей и приятелей – а друзей у него навалом, и все они такие тонкие, задушевные, чистые и содержательные люди. Самое время предоставить его самому себе, отвлечься, отдохнуть от этой вечно неудовлетворенной, странной и малосимпатичной личности, а поговорить, например... о фольклоре. Не о всяком фольклоре, не о всех его видах. Так, например, в сферу интересов автора никогда не попадала и не попадет нелюбимая им частушка или сказы и сказки, передаваемые из уст в уста, или безупречные, но малодоступные автору в связи, скажем, с дефектами музыкального образования и слуха, песни типа: «Не велят Маше» или даже такие шедевры как «Кирпичики» и «Я Васю встретила на клубной вечериночке». Обсуждать все виды фольклора совсем не входит в задачи автора, и он сразу, с первых шагов намерен со всей решительностью заявить, что ни под каким видом не будет этим заниматься. Речь пойдет о сфере фольклора весьма узкой, предельно точной и предельно лаконичной. Вы уже догадались, не правда ли, что речь пойдет о пословицах и поговорках. Следует сразу оговориться, что автор долго не осмеливался затрагивать эту весьма щекотливую тему, потому что с самого детства, дома и в школе, и в обиходе, да и в литературе – автору внушалось самое благоговейное отношение к этим перлам и изумрудам народного словотворчества. Правда, автор никогда так широко не использовал эти такие маленькие и такие точные рекомендации и указания, как один современный ему политический и общественный деятель, но и никогда не чурался их, и уж во всяком случае, относился к ним терпимо и без высокомерия. Хотя никогда не показывал и даже не делал попыток показать Кузькину мать или других её близких родственников. Но зато автор никогда не пытался вступать и не вступал в конфликт с содержащимися в пословицах указаниями, если они не противоречили его представлениям о чести и порядочности. Но жизнь... Жизнь!.. Что она делает с нами – жизнь. А она просто сама собой проверяет правомочность любых штампов, в том числе – пословиц и поговорок, и (куда денешься!) заставляет время от времени переосмыслить их и поглядеть на все

другими глазами. Так, например, автор видел до черта людей, которые, грубо попирая недвусмысленный запрет, содержащийся в известной поговорке, садились не в свои сани, и не проигрывали при этом ни в скорости, ни в комфорте. Автор видел, как плюют в колодець, и потом пьют из него, наслаждаются и похваляют; или как называются груздем, а в кузов сажают совсем других, или сеют ложь и клевету, а пожинают лавры и благополучие; или как откликается – совсем не так, как аукалось; или как не только разевают рот на чужой каравай, но и успевают с ним управиться, а расплачиваются только дискомфортом в области желудочно-кишечного тракта, и то далеко не всегда.

Автор видел воров, которые воровали долго, демонстративно и неумело, и решительно опровергали исход, predetermined пословицей. Автор видел веревочки, которые вьются и вьются бесконечно во времени и в пространстве, и как было бы прекрасно, если бы все это относилось только к категории казуистики. Но мы оставим в покое перечисленные наивные заповеди честности и порядочности и обратим взоры к пословицам другого уровня и содержания.

Мы намерены обсудить старую поговорку: «Незаменимых людей нет», от которой веет не только похоронами, лопатами, мерзлым грунтом, венками и вечным покоем, а как же философским, лаконичным и все-таки волнующим до глубин: все проходит.

Незаменимых людей нет – формула эта всегда предполагает замену деятельного и нужного человека, злорадно предполагает, с издевочкой, с ухмылкой обывательской успокоенности и довольства. Живи – да не забывай! Помни – да не зарывайся: Маленький ты. Ты, как все. И уйдут при случае как миленького. Формула эта интенсивно оплодотворяет нездоровую экспансию тех, кого действительно надо заменять – и чем решительнее и быстрее, тем лучше.

Незаменимых людей нет – вот ведь какая беззастенчивая профанация самой природы человека, его сокровенной и откровенной сути. Вдумайтесь только, какая подлая, в сущности, формулировка. Порождение мещан, она и создана им на потребу – надо же им, бедным, одарить самих себя, да еще таким удовлетворением, близким

к сладострастию. Ну давайте! Давайте заменять! Страстность заменим равнодушием, убеждения – беспринципностью или ветром в голове, правду – ложью, прямоту – двурушничеством и лицемерием, целесообразность – абсурдом. Оглянитесь, на свете полно людей и представлений, которые мы еще не успели заменить противоположностями и суррогатами. Неисчерпаем арсенал исконной житейской мудрости, проверенных, надежных штампов на все случаи жизни, например: «деньги не пахнут», или «все средства хороши», или «после меня хоть потоп». И как же далеко могут завести и заводят проторенные дорожки, которыми любую мерзость можно оправдать – для того они и созданы. И сладко человеку, у которого хватит ума, чтобы понять, какой он, в сущности, мелочь, убедиться, что вот и в отношении большого, нужного людям человека философия замены сработала безотказно и в срок. Сработала в первую очередь потому, что деятельные и ищущие люди неудобны (ну и что из того, что кто-то из поэтов написал, что коммунист не может быть удобным?!). И они, деятельные и ищущие ко всему обычно и незащитны, потому что деньги для них пахнут всегда собственным обильным трудовым потом, а до того, что все средства хороши – им просто век не додуматься. И вот кто-то, невидимый простой, кому бы век этим заниматься не пристало, начинает травлю. И бесконечная во времени и пространстве маленькая философияшка – «незаменимых людей нет» – срабатывает с фатальностью почти необъяснимой. И... – Ага, правильно! Не заносись! Незаменимых людей нет! Вот и Ивану Петровичу по кумполу врезали – подумаешь, цаца какая! И без него не хуже будет! А, собственно, кому не будет хуже? Ну хорошо, допустим что, что замена найдена Ивану Петровичу более или менее равноценная и дело не пострадало. Но ведь нанесен неизмеримый моральный урон прежде всего тем, кто не побоялся влезть в драку на стороне слабого, но правого, и тем, кто струсил, сдешевил, сподличал и, в лучшем случае, отмолчался, ушел в кусты – моя хата с краю, а в худшем – грудью встал за «всегда правое» начальство. И эта цепная реакция страшна еще и тем, что пострадавшие за правду знают: за что они пострадали. Знают, что они правы. А подлецы и слабохарактерные знают, что они победили и какими средствами, и

значит подлость и трусость может ходить с высокоподнятой головой, и значит можно и дальше так. И о происшествиях подобного рода бывает пишут газеты, и разоблачают всю эту механику, и наказываются зло, и вечная торжествует истина. Но не всегда ведь и не часто такие баталии становятся достоянием газет, да и где гарантии, что именно при помощи корреспондента будет искоренено зло, и многострадального Ивана Петровича ждут лавры, ему низко кланяются встречные. Говорит общественность: живи, твори, дерзай – не дадим в обиду!

Нет, врете, сволочи! Хуже будет. Много хуже. Это только первое время все идет так, как будто бы и не изменилось ничего, потому что Иван Петрович все сделал, чтобы не было потопа, и надо стараться, из кожи лезть, чтобы много времени спустя стало очевидно, что вот он – потоп еще чуть-чуть и состоится. И крепко предстоит поработать, чтобы его предотвратить и прежде всего гнать в шею этого самого, заменившего Ивана Петровича и, удобного многим, Николая Ивановича. И бросьте вы фальшиво умиляться, что такой, как мы, плоть от плоти нашей, вот, мол, пришел середнячок, и тоже ничего, и тоже жить можно. Вот Иван Петрович горел, дерзал, все рвался куда-то, толкался во все двери, жить никому не давал спокойно, а Иван Николаевич и сам не перетрудится, и к людям помягче, словом, сам живет – умница, и другим не мешает. И приходит время, самое разлюбозное время ажиотажа и ликующих криков, и... – Любуйтесь, скептики и маловеры! Вот она – правда! Вот он – товар лицом! Смертность-то стала ниже, и значительно! А количество операций возросло! А показатели улучшились, (внимание!!!) – эх, копнуть бы их поглубже – эти самые показатели. Иван Петрович (не жилось ему спокойно) прямо погоню устраивал, чудак, за операциями именно у тяжелых больных, порой у безнадежно тяжелых, как говорится, на грани операбельности, а частенько по всем признакам, и у людей, перешагнувших эту грань, а зачем это надо? Вон Петрову в двух институтах туберкулеза в операции отказали (а им видней, на то они и ученые), а он его на стол. Ну и что, что Петров поправился – случайность! Авантюризм! А нагрузка на персонал какая? – частенько всё отделение на одного-двух больных ра-

ботаает – плановая хирургия, естественно в ущерб, а ведь из десяти таких больных четыре, а то и больше умирают, показатели (внимание!) ухудшаются, а ведь опасно давать смертность выше среднестатистической. Ведь за высокую смертность и отругать могут, и уж по головке не погладят. И надо подбирать больных на уровне среднестатистическом. Ну и что из того, что без операций все десять больных обречены – никто ведь за это не упрекнет. А Иван Петрович, пока отделение двум больным все свои силы выкладывает, десять стандартных (пусть маленьких) операций сделает, и есть гарантия, что все десять поправятся. Неоперабельный больной, и все! И все это можно обосновать достаточно убедительно и грамотно, и после этого и спать спокойно, и свой кусок хлеба заслуженно и с достоинством употреблять в пищу, и кому они нужны, эти сверхсложные ультрасовременные операции – больного всегда можно отправить в Москву, или Свердловск, или Киев. А эти его анатомические экзерсисы, с выделением каждого сосуда с отдельной обработкой его (а это опасно, трудно, боязно!) есть прекрасные шивающие аппараты, ими гордится отечественная медицинская промышленность, наложил эту железку на корень доли, нажал и все! И не обязательно же ставить в известность всех, что частенько и сам не знаешь, что шьешь, зато прошито надежно, и операция быстро прошла.

А теперь приглядитесь, откройте глаза. «Незаменимых людей нет», формула эта – просто ширма, за которой прячется такая знакомая и невыносимо гнусная рожа произвола, насилия над личностью, и ее нельзя спрятать ни за какими моральными и этическими послылками. Человек должен жить гордым сознанием своей незаменимости: в семье! на работе! на земле! А иначе жить не стоит – нет смысла.

Григорий Исаевич Едлевич. Гриша – добрый, веселый и толстый мальчик, очень добрый и очень толстый мальчик, которого в детстве воспитывали добрые и толстые тети. Семья эта была большой, нравственной и разветвленной. Испокон веку жили они здесь, в Сибири, и их знали все, и они всех знали. Почти все старшие члены семьи были людьми заметными: Гришина мама была заслуженным учителем и директором большой школы, ее сестра тоже была заслуженным учителем, но не была директором школы, а дядя, их

брат, был писатель. Гришу воспитывали регулярно мама и бабушка, и нерегулярно тетя и дядя. Была в этой семье и своя червоточинка – двоюродный Гришин братец, его ровесник, запойный пьяница – позор и несчастье всей семьи. В семье, в том числе и в присутствии братца, частенько поговаривали, что лучше бы уж он умер. А братец почему-то не умирал, а люто ненавидел собственную маму и находил способы афишировать эту ненависть. Папа у Гриши тоже был алкоголиком, и папы у Гриши с детства не было. Гришу воспитывали хорошо и в строгости, и держали в изоляции от гадких мальчиков, и до студенческой скамьи Грише без присмотра взрослых не разрешалось ходить даже на речку. До пятого класса Гриша учился вместе с девочками, потому что мама его была директором женской школы. Гриша, став уже взрослым, хвастался, как хорошо еще в детстве он натренировал мочевого пузыря. В школе была только женская уборная, и это стоило мальчику больших нравственных и физических мук. Впервые в жизни Гриша попробовал вина на выпускном вечере, и всю ночь провел в вытрезвителе, а утром был вызволен оттуда дядей-писателем, и скандал был замят, но для семьи это была настоящая трагедия. Школу Гриша окончил с золотой медалью и без конкурса поступил в медицинский. И в институте он учился хорошо, он был очень умный и очень прилежный мальчик, и его многие любили: и студенты, и преподаватели. Он получил диплом с отличием в 1964 году, и когда его сокурсники разъезжались, получив назначения, и отработывали преимущественно в деревнях законные три года, Гришу оставили в областном городе, и сразу назначили главным врачом городского противотуберкулезного диспансера. И Гриша получил право распоряжаться людьми, нередко более чем вдвое старше его по возрасту. На него возлагали большие надежды, и он не обманул ничьих ожиданий: ни мамы, ни тети, ни дяди писателя. Он отремонтировал помещение бывшего госпиталя инвалидов отечественной войны – двухэтажный большой корпус, который был в очень плохом состоянии. Корпус этот был передан тубдиспансеру, и Гриша отремонтировал его, и заслуги его перед здравоохранением в области стали весомыми и бесспорными. Естественно, деньги на ремонт отпускали соответствующие

финансовые инстанции, а стучали молотками, меняли полы и крыши рабочие под руководством прорабов и инженеров-строителей, и почему это Гриша отремонтировал корпус для всех, оставалось загадкой, все-таки все говорили: Гриша отремонтировал, и Гриша был бесконечно горд своими заслугами, и над доброй и толстой его головой разливалось неуловимое сияние нимба «строителя и создателя», и ни у кого не поворачивался язык лишать Гришу этого ореола. Вот городской диспансер получил триста коек, и Гриша стал хозяином большого учреждения: и поликлиника, и стационар, и в подчинении у Гриши три десятка врачей. Гриша был умен. И, как умный человек, он не мог не понимать комического несоответствия своей фигуры должности, которую он занял. Поэтому Гриша всю острил в свой адрес, и ловко играл демократа и своего в доску. Но шли годы, и Гриша набирал силу, и становился самодовольнее и наглее. Он вступил в партию. Стал номенклатурным, научился начальнически покрикивать на людей старше себя, но никогда не возражал вышестоящим и смотрел им в рот с угодливой преданностью и такими своими карими чуть на выкате маслянистыми глазами. И только в порыве дружеской откровенности нес этих людей ядовито, остро и зло. Гриша со временем все чаще стал позволять себе распоясываться, и тогда из благообразного, толстого добрячка перла хамская сущность выскочки и нувориша. Такая карьера и не могла сделать его иным. Впрочем, Гриша знал свой потолок и далеко не замахивался, да и чем не «местечко» у него, чем не лакомый кусок, хотя бы и до конца жизни. Язык у Гриши был подвешен хорошо, отсутствием логики Гриша тоже не маялся и выступать мог, хотя бы и экспромтом, по любому поводу и на любую тему. Гриша мог бы стать вполне приличным врачом, но духовная лень наступила его слишком необратимо и слишком рано.

«Вы не можете себе представить, Виктор Петрович», – говорил Гриша с тоской и отчаянием, – мук толстого человека. Это постоянное состояние неутолимого чувства голода!» И Гриша из кожи лез, соблюдал всякие диеты, но только до очередного выпивона, а последние случались слишком часто и со слишком удручающей регулярностью, и тут уж он дорывался, а, дорвавшись, упивался

самозабвенно, жадно и малоразборчиво. И случалось Грише уже и в «чинах» попадать и в милицию, и в вытрезвители, но друзей у него было полгорода, хватало там и высокопоставленных, и всяких, и его выручали, а выручающие нередко приглашались в качестве «почетных» на очередной выпивон, и компания Гришиных обожателей разрасталась лавинообразно, потому что Гриша, презирая своих собутыльников, умел держаться с ними на равных и к каждому умел подобрать ключик, действуя с начальством – лестью, с мелкой сошкой – панибратством и универсальной щедростью. Самым страшным для Гриши был хотя бы полунамек на скряжничество. И кидаться десятками и двадцатками в компаниях он умел, не дрогнув. Но зато жена его жаловалась Лиде, что она не может потратить пятнадцать копеек себе на мороженое, потому что Гриша бюджет семьи контролировал жестко, и такой незапланированный расход мог ей стоить тяжелой семейной сцены и слез.

При всем том, до поры до времени Гриша не был подлецом, хотя бы потому, что у него просто не было необходимости подличать. Но был Гриша великим лицемером и умел говорить горячо и взволнованно и о задачах учреждения, и об общественной работе, и вел занятия политкружка, цинично презирая эти глупости, которыми его, серьезного человека, заставляют серьезно заниматься.

А самым любимым, самым дорогим занятием для Гриши была гульба в развеселой компании. И тут Гриша был по-настоящему счастлив, и обожал он компанию людишек помельче, где у него, краснобая и острослова, не могло быть серьезной конкуренции, и он, наслаждаясь, без помех, мог ощущать себя центром этой разгульно пьяной вселенной, звездой первой величины, вокруг которой в нарастающем темпе запойного веселья вращалось и искрилось все: лица, песни, смех, музыка – до тех пор, пока Гриша не «набирал нормы», и тогда его, вырубленного, надо было срочно раздевать и укладывать. А меры он не знал, и не умел останавливаться, и эта пьяная экспрессия не проходила для Гриши даром, и уже несколько раз оканчивалась срочной госпитализацией в больницу с тяжелойшей сердечной аритмией, и один раз Гришу спасали электрическим разрядом в сердце в шесть тысяч вольт. И Гриша боялся, но пил.

И Гриша пил и боялся. Самыми любимыми Гришиными друзьями вскоре стали торговые работники всякие: завскладами, директора магазинов, столовых и другая блатная публика, и они откровенно обожали Гришу, и готовы были его на руках носить. И они не могли без Гриши так же, как он не мог без них. И, о, это мучительное и тяжкое, как похмелье, послезапойное раскаяние, когда он плакался Савичу, как они все мелки и корыстны, и как он глубоко и сильно презирает и себя, и их.

Савичу с первых дней знакомства понравился этот интеллигентный паренек, который к тому же смотрел на него, казалось, сияющими восхищенными глазами. А если перед вами откровенно и наивно преклоняются, то многие ли из вас могут перед этим устоять? Жизнь частенько сталкивала их, и Виктору вскоре стало казаться, что он нашел себе друга, доброжелательного, искреннего и преданного. А в друге он нуждался, мучительно маялся некоммуникабельностью, и если не спал, не читал и не работал, то нередко обнаруживал себя с прижатым к ночному стеклу лбом, в непонятном трансе полутоски, полутревоги, с непреходящим ощущением дефицита близкой души – поделиться, выговориться, раскрыть себя!

И вот, вскоре после отъезда Зобнина, новый главный врач – человек недалекий и весьма ограниченный – возалкал избавиться от разного отделения любым путем. Новая метла чисто метет, и новый заведующий горздравом, краснобай, демагог и бездельник, решил увековечить свое имя важными преобразованиями в здравоохранении. И отделение, атмосферой поиска которого, завершенностью организационных структур, медсанчасть получила блеск и законченность рисунка, в полном составе переводится в гортубдиспансер. Так Гриша стал главным врачом Савича, хозяином его судьбы.

Виктор никогда не видел, чтобы врача увольняли, в связи с полной профессиональной непригодностью. И сколько он видел таких, в общем, несчастных, бог знает какими путями и зачем попавших в медицину и сеющих несчастья среди ни в чем неповинных жертв, своих пациентов. Грубость и раздражительность, неумение найти элементарного контакта с больными людьми и тяжелое, как бревно, равнодушие, и венец их, и крест их и окружающих – отсутствие со-

страдания, милосердия, жалости, изобличали в них людей, не могущих иметь ничего общего с болезнями и лечением человека. Работа им причиняет муки, становится их проклятьем, тяжелой символикой бесполезно проживаемой жизни. Нет сомнения, что они при определенных условиях могли бы прекрасно найти себя и не влачить существование, а жить в другой сфере, разумеется, глубоко индивидуальной для каждого. Для одного это финансы, торговля, снабжение, для другого – журналистика или сцена, или агрономия, или бог знает что еще. И в конце концов плохой актер или журналист безвредны. На их фоне только ярче высвечиваются таланты, но плохой врач социально опасен, и тем в большей степени, что врачебные ошибки и преступления исключительно редко наказываются юридически, а моральные категории у этих далеко не редких особей, и Виктор в этом убедился сам, со временем притупляются и просто перестают существовать. И сколько он перевидал их на своем веку – не бездарных, нет (талантливых врачей так же мало, как талантливых поэтов), но людей в силу склада ума своего, особенностей характера, сложившейся жизненной философии (кстати всегда не очень-то глубокой), абсолютно не способных выполнять обязанности врача-терапевта вообще, и в особенности хирурга. В силу совершенно необъяснимых причин (а эти люди далеко не всегда глупы), какими-то запутанными обстоятельствами они иногда еще и ухитряются «создать себе имя», процветают материально, и в глазах общественного мнения и равнодушные, безучастность, корыстолюбие в их руках становятся еще более опасным и даже смертоносным оружием. И вот таких людей, чей настрой, дух, сущность, традиции несовместимы с медициной, никогда и никто не увольняет с работы. И это совсем нередко случается с людьми талантливыми, прогрессивными, ищущими.

Но бывает поиск совершенно особого рода, и в этой связи самое время рассказать об Эдуарде Иосифовиче Камском, фтизиохирурге, докторе медицинских наук. Он появился на горизонте Савича, вернее, в его рабочем кабинете, пригожим апрельским днем, очень корректный, упитанный, гладенький, прилизанный, с подкупающе приниженной и какой-то кривоватой улыбочкой, и представился. Савич поднялся, пожал руку: «Весьма наслышан!» – усадил в крес-

ло. Подумал с иронией: «Рога и копыта» в легочной хирургии пожаловал. Дело в том, что в период освоения легочной хирургии, когда и профилактика, и лечение бронхиальных свищей представляли неразрешимую задачу, над которой бились сотни исследователей, Камский предложил для закрытия пересекаемого бронха костную клемму, изготовленную из рогов животных. Руководил работой и поддержал эту абсурдную идею маститый и всеми уважаемый хирург – тогда все средства были хороши, если они хоть что-то сулили. Это была пустышка, форменная пустышка в варианте интригующей новизны, и автор знал это. Впрочем, все делалось по науке. Провели эксперименты на животных – прошло. Прооперировали человек двадцать – тоже прошло. Отдаленные результаты было некогда изучать, автор торопился с защитой диссертации, и она состоялась, эта защита, и появился новоявленный кандидат наук. Уже в период защиты «ученый» знал, что больные один за другим поступают в разные учреждения с тяжелыми отдаленными осложнениями операций – развала культи бронха, нагноением в плевральной полости и кровотечениями от пролежней сосудов. Но что стоила профессиональная добросовестность в сравнении с перспективами, которые замаячили перед невинными карими глазами экспериментатора. К чести его, надо сказать, что после защиты ни одному больному подобной операции он не сделал. И велика ли жертва – каких-то два десятка туберкулезных больных. Так оно и состоялось это падение. Правда, не обошлось и без конфуза. Нашелся ученый, директор одного из институтов туберкулеза, который не побоялся крикнуть: «Держи вора!». Крикнул, потому что это не было наукой. Это не наука, а жульничество! Но доказательства, представленные им, нашли малоубедительными, все свели к проблеме личной неприязни, личных счетов. И каких только проклятий не посылали новоявленный кандидат в адрес разоблачителя, даже много лет спустя, после его смерти. А кандидатом его сделал только лишь повальный гипноз имени его шефа – большого ученого и прекрасной души обаятельного и доброжелательного человека. Страсть к экспериментаторству не остыла, наглости и предприимчивости в этом деятеле хватило бы на десятерых. И вот посыпались заявки на патенты в области

изобретательства хирургического инструментария, и заявки эти удовлетворялись, и инструменты шли в серию. Ну и что, что ими никто не пользовался, зато слава, зато авторитет – инструмент Камского, плевродержатель Камского, плевродиссектор Камского – чем не реклама! Происходило становление хищника от медицины, беспринципного, наглого, жадного и предприимчивого. И вот больной человек, с его болями, бедами, искалеченной и нередко несчастной судьбой, перестал существовать – на смену ему пришел объект эксперимента, средство достижения нечистых целей. Операционная стала пыточной камерой, инквизиторским прессом, где во имя ученой карьеры Камского безжалостно перемальвались кости, судьбы, тела и жизни неосмотрительно доверчивых людей. «Рога и копыта» активизировался, со страниц журналов закричали поразительные по наглости новые варианты хирургических операций, предлагаемых обездоленному человечеству виртуозно изобретательным кандидатом наук. Нечистый этот фонтан никто не останавливал. Специалисты недоуменно пожимали плечами: фрагментационная торакопластика, призванная якобы уменьшить кровопотерю, травматичность которой в плане сравнения с классической операцией никто не изучал, хотя отломки пересеченных ребер, лежа на легкое, никак не могли содействовать необходимому уровню его спадения. И потом Виктор видел, как сгорал больной, подвергшийся бессмысленной кровавой этой операции, и не находил слов от возмущения, и ничего нельзя было сделать, ну ровным счетом ничего.

Потом сам Камский, небрежно развалясь в кресле в приливе непонятной и циничной откровенности, рассказывал какие великолепные сделки в области медицинских показателей ему удавалось совершать. Так, например, при переводе больного из терапевтического отделения в целях сомнительного эксперимента, чтобы уменьшить психологическое давление миража юридической ответственности на оператора, заранее обговаривалось, что, если больной умрет, смерть эта в отчете будет проведена по терапевтическому отделению, если же выздоровеет, то успех будет закреплен в хирургической документации. При таком вольном обращении с отчетностью немаловажная графа, а именно смертность, станови-

лась фикцией, произвольным числом, нивелирующим опасные проделки и хирургические шалости «ученого». Несколькими годами раньше он предлагает так называемую концентрическую костно-мышечную пластику. И если в хирургии запущенных форм туберкулеза резекции большого объема стандартно сочетаются с одновременным или последовательным (отсроченным во времени) удалением нескольких верхних ребер, для приведения в соответствие объемов остатка легкого и плевральной полости, то Камский, разумеется, из самых гуманных соображений, одновременно дополняет это и без того весьма тяжелое вмешательство еще и удалением лопатки. Эти реконструктивные экскурсы в так плохо задуманную и дефектно выполненную природой модель человеческого организма, конечно же, получают в работах «ученого» вполне «разумное» обоснование и... новые лавры и новые покойники, списанные, конечно же, за счет терапевтического отделения. И новые искалеченные люди, задуманные и выполненные в улучшенной и исправленной модификации – модели имени Эдуарда Иосифовича Камского. За рубежом и у нас в стране делались попытки заполнить синтетическими материалами часть плевральной полости, соответствующей объему удаленной части легкого. Попытки оказались несостоятельными и получили недвусмысленное осуждение в нашей печати. И вот уже после того, как это произошло, Камский предлагает свой вариант поролоновой пломбы, которая помещается под лопатку вместо удаленных ребер. И опять статья после серии новых бессмысленных жестоких экспериментов, новые трупы, новые калеки. Виктор видел потом этих людей, которые приезжали в отделение и находили своего автора, и погибали при полной невозможности чем-либо им помочь или хотя бы облегчить их страдания. И видел невероятно тяжелые операции, связанные с удалением проросшей тканями поролоновой пломбы и разрушенного под ней легкого. Так вот и набирался материал для докторской диссертации, и, не отступаясь и не оглядываясь на содеянное и ничтоже сумнящийся в своем праве экспериментировать на человеке, триумфально восходил, поднимался с кривоватой своей улыбочкой к блистающим мирам профессорского удовлетворенного тщеславия, невыносимо медлительный

в речи и необычайно проворный и предприимчивый, изобретательный, жесткий и беспринципный делец и аферист от науки, а также рубаха-парень, а также проходимец, будущий профессор – Камский Эдуард Иосифович.

Камский оперировал мало. Среди прочих причин, ограничивающих его деятельность, не последнюю роль играла леность, и нежелание больных оперироваться именно у «профессора». Профессором он еще не был, но его упорно так называли больные. Вероятно, в этом стойко отрицательном отношении к нему больных играли роль наглядные примеры его деятельности и слухи, которые через врачей ли, сестер ли просачивались из операционной. Камский оперировать не умеет. Это было общее мнение.

Врачи отделения, если оперировал Камский, с ужасом ждали операционного списка, и каждый считал для себя незаслуженным наказанием ему ассистировать. Его раздражающе кропотливая манера, с неуверенными движениями, робость, терзающая и мнущая живые ткани, как будто бы стимулировались желанием, как можно больше времени провести за операционным столом. Вот это ему удавалось в полной мере. Те операции, которые у Савича продолжались час, в исполнении Камского занимали времени в восемь раз больше. Он и сам не мог не видеть разницы с уверенной и четкой манерой Савича и льстиво говорил, что хотел бы когда-нибудь оперировать так, как он. А в последнее время Камский совсем перестал появляться в операционной. Он начал писать докторскую диссертацию. Подводить итоги своей хирургической деятельности, своих многолетних и таких плодотворных поисков в хирургии распространенного туберкулеза. Он и к Савичу с этим не постеснялся подъехать.

– Виктор Петрович, я тут просматривал операционные журналы и увидел довольно много операций, близких к моим по контингенту и методике. Вот если бы ты их уступил мне, а то у меня материала для докторской маловато.

– Да, сделай одолжение. Бери, пожалуйста. Жалко мне что ли? Только если ты имеешь в виду резекцию лопатки, то она у меня проводилась в плане вполне стандартном, как изолированное са-

мостоятельное вмешательство, принятое повсеместно для ликвидации осложнений.

– Ну и что, я решил включить эту операцию в свою диссертацию, а детали несущественны.

– Ну, пожалуйста, бери журналы, выписывай.

Работа над диссертацией заняла у Камского два года, и все это время его жена, заведующая терапевтическим отделением, лезла из кожи, создавала вокруг Савича обстановку всеобщего недоброжелательства и антипатии. Сделать это было легко, так как Савич был замкнутым человеком и недопустимо прямолинейным в отношениях с людьми. Кроме всего прочего, стоило появиться любому тяжелому больному, а их всегда хватало, как Савич становился слеп и глух к окружающему. Он ходил и ничего не видел вокруг, никого не замечал, не здоровался с сотрудниками, и это их обижало, и подливать масло в коптящий огонек хронической неприязни не стоило больших трудов. Каждое осложнение или несчастье, состоявшееся в хирургии, приводило в восторг недоброжелателей, создавало среди врачей терапевтического отделения обстановку взлелеянного предшествующими разговорами экстаза. Обстановка накалялась, потому что супруга Камского начала у кулуара и под сурдинку пошептывать, что в отделении много осложнений, и больных на операцию она давать не будет. И она, как и ее приспешники, опустилась до моральной обработки больных, потихонечку намекая, что здесь, мол, оперироваться не надо, попроситесь лучше в Н-ск, там вам это сделают надежнее. Делалось это все с оглядкой и только наверняка. Но случались и промахи, и находились больные, которые шли на операцию к Савичу, и сообщали ему под секретом о том, какие советы давались им в терапевтическом отделении. Однажды такие сведения Савичу передали о враче, которая год назад положила к нему на операционный стол свою больную сестру. Родную сестру.

А Камский сидел себе над докторской диссертацией, втихомолочку потирал руки и делал вид, что огорчен усилиями своей жены и ничего не может сделать, да еще и напрашивался на продолжение дружеских отношений с Савичем.

Гриша предупреждал Виктора:

– Учти, она человек жуткий – эта баба. Она все делает так, что комар носа не подточит, и я тебе советую любыми путями с ней поладить. В этом конфликте я тебе ничем помочь не могу.

– Но у меня же есть доказательства, что она подвергает обработке больных.

– Да что твои доказательства! Я не буду заниматься этим делом. Не буду. Подумаешь, отправят пару больных на сторону. Что у тебя оперировать некого?! Слава богу, авторитет отделения таков, что они своим шепотом с больными сильно тебе не повредят. Не бойся.

– Да ведь вопрос-то принципа! Ведь это же недопустимая вещь – такие разговоры.

– Я тебе сказал, Виктор Петрович, что связываться с этой бабой я не буду. И тебе не советую. Помалкивай лучше.

Главному врачу городского тубдиспансера Грише было тяжело. А Гриша был умен, тонок и изворотлив. Но в последнее время его плохо выручали эти качества. Гриша освоился в роли организатора здравоохранения, научился начальственно покрикивать на людей, рассудительно и с толком выступать на планерках в городском и областном отделах здравоохранения, спокойно и с достоинством пожинать лавры, которые неизменно приносила диспансеру хирургическая деятельность отделения. Гришин престиж как организатора здравоохранения рос, росли связи и возможности, а с ними – аппетиты и самодовольство. Если бы не Савич! И что с ним делать, с этим сумасшедшим, который сам не живет и никому вокруг жить не дает спокойно. Ну хорошо, сидишь ты в своем отделении, ну и сиди, работай, тем более что тебе никто не мешает. Нет, ему надо постоянно с кем-то конфликтовать, всех дергать, мединститут и тот ухитряется нервировать. Профессор Ваймер, уважаемый человек с весом, уж сколько раз намекал Грише, что надо как-то урезонить Савича, что нельзя, чтобы отделение хронически противопоставлялось клинике института. И говорил ведь ему об этом. Дружески предостерегал. Куда там! Один у него ответ: «Пусть ведет себя прилично, не жульничает и работает не для показухи и авторитета, а на больных». Ну какое тебе-то до этого дело. Он профессор, он в заслуженные метит, и будет им. А ты кто? И ведь на любые уступ-

ки идет человек, и диссертацию ему предлагает помочь оформить, и в клинику приглашал ассистентом, словом, демонстрирует свое доброжелательство, уважение, а этот, придурок, его нет-нет да по морде. Ну кому это понравится? Или рентгенограммы. В хирургическом отделении отличные делают снимки, ну и будь доволен. Так нет же, жить он спокойно не может, что в диспансере они плохие. У меня, видите ли, специализированное легочное отделение, и рентгенограммы плохого качества просто позор для диспансера! Ведь два года мертвой хваткой висит, любой разговор переводит на эту тему. И заставил-таки взяться, и стали делать рентгенограммы неплохо. Но чего это стоило? Рентген-лаборант – секретарь парткома, и ссориться с ним никак не входило в Гришины планы, а пришлось. Но куда как спокойнее было бы, оставить все как есть. Или этот очередной номер с Камским. Камский оперирует больного, назначает лечение, а этот хохмач берет и отменяет назначенное. И, пожалуйста, извольте радоваться – скандал. Ну Камский-то тертый калач. Тот бы и промолчал или спустил это дело на тормозах. Он-то с Савичем до поры до времени и не собирается ссориться. Так нет, его баба, заведующая терапевтическим отделением, влезла. Эта-то стерва та еще. Змея, а не человек, и хитрая, и лживая, а ведь против нее не попрешь, и, конечно, Камкого она заводит со страшной силой, и сколько это внешнее благополучие при характерце Савича продлиться может.

– Виктор Петрович, что это за история с назначениями Камского, которые ты отменил? Это же скандал!

– А что мне оставалось делать, если он при краевой резекции назначает больному канамицин? Я не имею возможность давать канамицин и после больших операций, выполненных по жизненным показаниям. Выходит больным, которых оперирует Камский, надо отдавать все без малейшей на то необходимости и лишать препаратов людей, которые без них просто погибнут.

– Да не имеешь ты ни малейшего права отменять его назначения!

– Я не только имею право, но и обязан контролировать расход дефицитов, а не потакать капризам Камского. Не дам, и все. Мы имеем возможность назначать канамицин только после удаления

легкого, и то при наличии подтвержденной устойчивости к стрептомицину.

Вот и попробуйте поладить с таким человеком. Дипломатичности никакой. Удивительное простодушие, и прямо-таки детская прямолинейность. Абсолютно неуправляемый тип. Совершенно. Самое главное, что Гриша в свое время имел глупость влезть с ним в дружеские отношения. А этот простачок, вместо того, чтобы принимать расположение начальства с почтением и мужской сдержанностью, ведет себя, как влюбленный мальчик – в любое пекло готов броситься за Гришу, за своего кумира, а его тяготит эта дружба, как будто налагает тяжелую моральную ответственность за любые решения, так или иначе связанные с Савичем. Ему уж и намекали не раз.

Савич получал очередной разнос за отказ включить хирургическое отделение в соцсоревнование.

– Виктор Петрович, – говорил, болезненно морщась, Гриша (дескать, господи, как мне все это надоело, как я от тебя устал, и когда же это все кончится!). – Ну что это за очередные шуточки с соцсоревнованием? К тебе пришел официально представитель месткома – выяснить, что сделано в этом плане, что предполагаешь сделать, а ты...

– Да ты же полностью со мной соглашался, что соревнование в хирургии недопустимо, не должно иметь места. Ведь это же абсурд, бред. В чем и с кем мы можем соревноваться. И ты, и все эти деятели отлично знаете, что отделение работает на высшем накале отдачи и больному, и профессиональному росту, и задачам диспансера в целом. Мы делаем все, что в наших силах и дополнительные манипуляции с оформительством ничего не могут изменить. Намного полезнее было бы потребовать такой же интенсификации труда от деятелей этажом ниже.

– Ты о своем отделении позаботься, а уж это-то забота моя.

– Вот я и говорю, что ты плохо о них заботаешься. Они за альбомчиками с обязательствами больного человека давным-давно видеть перестали.

– Какое тебе до этого дело?

– А какое им дело до меня?

– Господи, ну что ты меня терзаешь. Занимайся ты своими делами и не доставляй лишних неприятностей ни себе, ни мне. Приняли вы, наконец, обязательства?

– Обязательства мы приняли и в альбом записали, и будем стараться их выполнять. Но тебе-то можно было бы принять принципиальную позицию в этом вопросе, а не лицемерить вместе со многими другими. Между прочим, в отличие от тебя главный хирург официально выступает против соревнования в хирургии.

Разговор этот был не первым. В дружеской обстановке они оба часто возмущались, что в организации соревнования в борьбе за показатели часто утрачивается необходимое чувство меры, и полезное дело превращается в свою полную противоположность. В условиях противотуберкулезного диспансера, где тяжесть контингента оперируемых больных, а, следовательно, трудности самих операций, громоздкость и сложность выхаживания, в сочетании с динамичностью и нагрузками реанимационных задач и ситуаций, являли разительный контраст со спокойной, рутинной обстановкой терапии, где все, как и пять и десять лет назад. Ну добавилось за это время три-четыре новых препарата. Так ведь лечение туберкулезного больного процесс длительный. Дали комплекс лекарств, через два-три месяца можно его сменить или дополнить. Торопиться нечего и некуда. Времени свободного полно, на все хватает. Можно на работе и туалеты обсудить, и другие животрепещущие вопросы.

Впоследствии через несколько лет, когда улягутся страсти, и нет-нет, а встречаясь на конференциях и специализациях, бывшие коллеги Савича на вопрос знающих о Савиче понаслышке или по выступлениям, или по литературе людей: «За что его выгнали?», будут давать циничный и приблизительно однотипный ответ: «Этот человек сжигал себя с двух концов. Не знал ни покоя, ни успокоенности, ни личной жизни и наивно полагал, что все в том же котле должны вариться, при той же температуре, что и он. Вот за это его и поперли».

Одним словом, в диспансере создалась ситуация, при которой группа людей делает общественную работу средством ухода, и уxo-

да почетного от выполнения прямых профессиональных обязанностей. Заниматься больными им становится некогда (надо сказать, что эту свою обязанность они всегда находили обременительной, тягостной и неблагоприятной) – оформительство борьбы за показатели, организация соревнования отнимает все время. Больной перестает быть объектом усилий коллектива – им некогда, они борются, произносят речи, чертят графики, из которых ясно и слепому, что растет то, что и должно расти (как сорняки на огороде, когда его не пропалывают), и благотворно снижается все, обреченное на снижение, и они обмениваются опытом, возглавляют комиссии, заседают, борются, когда надо лечить, совершенствовать службу, да, наконец просто элементарно знать, что же представляет собою каждый их пациент, чем он живет, что думает, чем дышит, когда всеми современными средствами и равнодушной, и бестрепетной рукой через рот внутривенно и внутримышечно в него вводятся препараты. Нет, вздуматься только в этакий гигантский парадокс – социалистическое соревнование вокруг больного человека. Вы думаете соревнование – это соревнование на внимательность, человечность, гуманность, опыт, умение? – куда как не бывало, ишь чего захотел – умение?! – хе-хе, совсем нет. Вокруг ошеломленного Ивана Иваныча Пожитняка, который отдал свое людям: работал, растил семью, стремился к чему-то, добивался чего-то, радовался, негодовал – разыгрывается баталия, смыслом, внутренней сутью которой становятся альбомы, графики, показатели, художественная самодеятельность, спортивные состязания, комиссии, добровольные и полудобровольные общества, и победоносные, и устрашающие шествия по телам людей, которые никак не могут, чудаки сумасшедшие, отрешиться от рутинных старых представлений о врачебном долге, гуманности, чистоплотности, внутренней честности и прочих архаизмов. И это в век полупроводников, периодов полураспада, неона, миниюбок и максиштанов – чудаки! сумасшедшие! Туда им и дорога, и только туда. Вот так-то! (Последняя заключительная фраза, быть может, и страдает нелитературностью, но оставлена без поправок, так как полностью внесена в текст – взята из лексикона Старшинова).

Такие понятия, как внимательность, человечность, сострада-тельность и «пламенный борец за медицинские показатели» не имеют между собой ничего общего. Об этом знают все и почему-то полагают, что говорить на эту тему аполитично и неправильно. И частенько обнаглевшие эти «борцы» при всеобщем поощритель-ном равнодушии или попустительстве становятся разрушителя-ми лечебного процесса, так как отвлекают от него людей, дергают их, служа самым наглядным примером того, как прекрасно можно устроиться в медицине, будучи профессиональным ноликом, и чис-литься в передовых, и принимать «заслуженные почести», и полу-чать поощрения и награды, включая иногда и правительственные, а последнее, к сожалению, тоже случается.

Самое печальное то, что общий прогресс техники и неминуемые при этом элементы стандартизации лечебного процесса нивелиру-ют, сводят на нет прекрасное сообщество – врач-больной. Прогресс техники вторгается в эту тончайшую сферу взаимного познания – целительное присутствие врача, которое, случалось, помогало луч-ше любых лекарств и препаратов. Современному врачу некогда. Он не знает больного, даже едва ориентирован в общем его уровне и уж совершенно самоустранен от «болевых точек духа». Стереотипным становится ответ на вопрос: «Как вам нравится ваш лечащий врач?»: «А мы его не видим. Ему некогда». Оттенки здесь различны, от од-ной ироничности, до глубокого уважения к занятости человека. Но с грустью приходится констатировать, что интонационный смысл ровным счетом ничего не меняет. Врачу до такой степени некогда, что он не в состоянии предоставить больному возможность соста-вить о себе определенное мнение. Он обезличен. Он некая машина, лишенная какого бы то ни было своеобразия и духовных начал. И с этой точки зрения, отдавать больного в руки бестелесного и бес-страстного компьютера, может быть, и полезней, и прогрессивней, особенно если у врача высвобождается при этом время.

Чем дальше, тем Грише становилось все труднее. С одной сторо-ны – обязанность защищать Савича, потому что Савич – друг, а вра-гов у него, как снегу в зимний день. С другой стороны – раздражаю-щая независимость и самостоятельность, с таким соблазнительным

желанием послать все к черту, и эту дружбу, и здравый смысл, и погнать его, чтоб и близко не было! Сделать это будет, конечно, трудно, уж слишком авторитет велик у Виктора Петровича, и не только среди врачей, но и власти к нему доброжелательны, и не чураются у него и консультироваться, и на операции ложиться. В общем, трудная обстановка.

А кому бы понравился такой номер? Приходит к нему официально представительство местного комитета с предложением обдумать формы соцсоревнования. А он как с цепи сорвался.

– Вы думайте хоть, что говорите! Какое соревнование в хирургическом отделении. Ну какое может быть соревнование.

Нельзя было найти хоть какой-то компромисс, скажите пожалуйста. Тоже мне принципиальная позиция! Написали что-нибудь в альбоме, сравнили показатели, и все довольны. Это уже не шуточки. Здесь все обретают силу. Кто ни захочет – всегда может ножку подставить. И обязательно как конференция или собрание, так в хирургии что-нибудь случается. И почти всех врачей из хирургического отделения нет. Трудно представить, что все это нарочно делается, скорее всего просто совпадения, но народ-то возмущается. Выглядит это как игнорирование общественных мероприятий. И прямо заявляли, что вы, мол, опекаете и покрываете своего дружка, боитесь ему слово поперек сказать. И никого ведь не устраивают объяснения, что он, Савич, большой специалист, и приходится с этим считаться. Ничего не хочет понимать человек. Ровным счетом ничего, прет на рожон, как будто у него десять жизней, а не одна как у всех.

Гриша:

– Ну вот объясни, почему ты взял больного с раком легкого? Ты ведь великолепно знаешь, что Ваймер ему в операции отказал. Это что – вызов?!

– Именно поэтому и взял, что ему отказал Ваймер. Больного-то надо оперировать, и ты это отлично знаешь. Что же ему погибать, если Ваймер не берется?

– Да какое тебе дело? Ты отвечаешь за хирургию туберкулеза, а не рака легкого, вот и занимайся своим делом, и оставь Ваймеру решать, кого ему оперировать, кого нет.

– Да не могу я отказать больному, который обязательно умрет без операции, и хочет оперироваться именно у меня.

– Дождешься ты у меня, – с напускной строгостью сказал Гриша, а видно было, что сам польщен, – Запрещу вот оперировать раки, и все! Будешь знать, как с главным врачом на рожон лезть. Посмеялись.

– Да брось ты, Гриш! Ты же хороший мужик. Не сделаешь ты этого.

– Не сделаю. Не сделаю. Вечно тебе больше всех надо. Сиди вот теперь ночи со своим раком. Ни главврачу, ни персоналу покоя от тебя нет. И объясни ты мне ради бога, на кой хрен тебе сдались эти полеты? Оголяешь отделение, мотаешь людей, сам выматываешься. Больных привозишь тяжелейших. Пусть санавиация и торакальное отделение областной больницы этим занимаются. Они за это отвечают, а не мы. Мы городской диспансер, и не обязаны мотаться по области.

– Ну к чему этот пустопорожний треп. Ты ведь отлично знаешь, что они этого дела не потянут и заниматься им не будут.

– Ты один всех спасешь. Весь мир на твоих плечах. Атлант. Колосс. Ангел-хранитель человечества. О себе бы лучше подумал. У самого здоровья на три раза кашлянуть осталось, – ворчал Гриша.

Он и маме жаловался, и друзьям, как тяготит его эта дружба, и сколько ему хлопот причиняет. Сам не рад, что связался. В жизни себе не простит, что вот не оставил все на официальном уровне, когда была такая возможность. «Интересный человек Савич!» – передразнил он себя. – Вот и мучайся теперь с этим интересным человеком. А все административная неопытность. Уж сейчас-то ни за что бы такой глупости не сделал. А главное – удивительная у человека способность настраивать против себя всех, с кем бы ни соприкасался. Профессоров нервирует. Терапевты диспансера рядом с ним частенько выглядят недоучками. Объясняет каждому, что он, Савич, тысячи раз руками своими щупал то, что другие видят только на рентгенограммах. Конечно, этого опыта ничем не заменить, но ведь можно выступать и помягче, а не показывать всем видом

своим, что все перед ним дураки, а люди почему-то частенько именно так себя чувствуют после общения с Савичем. Ох и тяжелый же крест для меня этот умник.

– Если бы ты знал, как я устал, Толя, от так называемой дружбы с этим человеком, – говорил он их общему знакомому Толе Яцкому. Представляешь, все время чувствуешь себя так, будто чем-то ему обязан. Каторга, а не дружба. А он себе вытворяет, что хочет. Всех настраивает против себя, а главный врач отдувайся. Черт его знает, что за человек тяжелый.

– Да плюнь ты, Гриша, береги свое здоровье. Дался тебе этот Савич. Пускай сам расхлебывает кашу, которую постепенно заваривает. Давай лучше по стопке!

Гриша:

– Виктор Петрович, завтра субботник по уборке территории. Городской субботник. Будьте любезны позаботиться о том, чтобы все ваши вышли и срыва не было.

– Григорий Исаевич, давайте лучше устроим операционный день. Дадим государству двух здоровых людей. Это же намного рентабельнее, чем десятку специалистов тщетно пытаться заменить один бульдозер.

– А как ты думаешь, как понравится другим врачам, что хирурги не работают во дворе.

– Им не понравится, что хирурги занимаются делом? – Странно...

– Вечно у тебя фокусы. Неужели непонятно, что это распоряжение партийных инстанций?

– А ты убеди инстанции, что они не правы. Кроме всего прочего хирургам возиться с грязью, мусором вообще не положено. И еще одно соображение. У меня субботники каждую субботу и каждое воскресенье, и ты это отлично знаешь. У меня полно тяжелых больных, которыми должен заниматься, и я буду проводить свой субботник в отделении.

– Это твое дело, но все твои должны выйти.

– Ну как я с ними буду разговаривать, если сам не собираюсь.

– Ну вот что, хватит. Завтра ты выходишь во двор. Все.

– Григорий Исаевич, ну неужели ты не понимаешь, что не прав.

Ведь так пользы больше. Ведь операционный день с полной нагрузкой и работой с тяжелыми больными, ведь это в сто раз разумнее, целесообразней, поощрительней для коллектива. Люди будут знать, как высоко оценивается их труд – очень нелегкий труд.

– Можешь считать дискуссию оконченной. Я еще не сошел с ума, чтобы предоставлять хирургам привилегии, за которые меня завтра повесят.

– В чем наши привилегии? Вкалывать больше других?

На следующий день Савич вышел на субботник. А через полчаса началось легочное кровотечение. И главный врач через силу выдал из себя согласие на операцию. А негодованию и крикам не было конца, и многие искренне считали, что это просто фортель, выкинутый Савичем, чтобы не работать на уборке территории. Мог бы прекрасно дождаться больной конца субботника, а потом бы и оперировали, и никому не обидно. Никого не останавливало сожаление, что если бы больной и мог подождать, то почему его должны были оперировать физически уставшие люди, хорошо припорошенные уличной пылью, которую они понесут в операционную.

Незадолго до этого произошло вот что. Как-то Савич, который в жизни ни в одном общественном мероприятии не участвовал, загорелся подкинутой кем-то идеей организовать вечер современной поэзии, а кому тут и карты в руки, если не ему? Ему предложили, он пожалуйста. И готовился по всем правилам, добросовестно и с охотой. А тут Гришу черт унес в Новосибирск! А начмед пошел советоваться к Гришиному дяде-писателю, как этот вечер организовать. Дядя воспользовался случаем внести в свой актив галочку о лишней встрече с читателями, и предложил свои услуги – выступить с отчетом о своем творчестве.

Савич узнал о перемене программы перед самым вечером и взбеленился. Он, наверное, меньше всего думал в это время о дружбе и прочих высоких материях. А против разгара дядиных разглагольствований, с цитированием самых заурядных маленьких стишат, спокойненько так встал, и, не торопясь, собрал свои книжки, записки и вкладки и пошел из зала на виду у всех. А объяснение: «не могу я два часа уделять суррогатам вместо поэзии». Конфуз, да и только, и как себя после этого должен чувствовать племянник – главный

врач. И на дядино: «Ну и друзья у тебя, Гриша» и возразить нечего. Вот и ладь с таким человеком.

Савич наивно думал, что эти маленькие распри не осложняют их такой большой дружбы, обогащающей Гришу, ведь он сам часто об этом говорил. Он ошибался, такой начитанный Савич. Гриша уже тогда трясся за свою карьеру. Боялся, что ему, главному, придется отвечать за вольности Савича, что с него все спросят. С него никто и ничего не собирался спрашивать. Последнюю черту подвело выступление Савича на профсоюзной конференции, а перед этим тоже многое накопилось. Но это была капля, переполнившая сосуд Гришиной трусости, боязни пострадать из-за другого и от Савича. И у Гриши была еще возможность не стать подлецом, уйти хотя бы в нейтралитет или пассивно защищать Савича. Но подлость лежала прямо под ногами, прямо на поверхности. И он стал подлецом, чистый и незапятнанный Гриша. Он стал организатором травли, методичной, обдуманной во всех деталях. Организатором тонким, умным, беспощадным и последовательным. Мозговым трестом широко разветвленной компании. Он открыл в себе талант интригана, подлеца и двурушника, и упивался на много ходов вперед продуманной игрой, выигрыш в которой был гарантирован, хотя бы потому, что «незаменимых людей нет». И он точно знал это (а этот дурачок, трудяга-самоубийца, был абсолютно убежден в своей незаменимости) и осознавал свою силу, и это было смешно и сладко.

В последнее время всех недоброжелателей Савич собрал в кучу. Их объединил сильный козырь: заотделением выступает принципиальным дезорганизатором общественной работы. Всем своим недоброжелателям Савич посвятил большое стихотворение, полное иронии и сарказма. Вот только жалел, что не мог их собрать всех вместе и прочитать на прощанье этот опус.

*Раскладываю я
(Изгнанник и невольник)
Мучительный пасьянс
Своих обид и болей.*

*Владелец головы –
Вот всё, чем я владею.
Враги мои, увь! –
Нисколько не злодеи.*

*И облик их, и стать
Не нов (есть тьма примеров)
Уменьем не блистать
Среди таких же серых.*

*Не гранды, не столпы,
Их главное богатство –
Способность из толпы
Ничем не выделяться.*

*Но все же, стало быть,
Не очень-то им светит,
Раз есть нужда давить
Всех, кто хоть мало светит.*

*Но мой случаен дар,
А мир благополучен –
В нём каждый экземпляр
Своё сполна получит.*

*Получит, милый друг,
(Неоспоримый факт)
Тот – доктора наук,
А твой слуга – инфаркт.*

*Каюк-то им, каюк!
Конец так близок их,
Но как с оттягом бьют
По почкам и под дых!*

*Ты – их святая цель!
Их долг им так велит –
И вот ты сверху жив,
Внутри же весь убит.*

Ну, чем ты их возьмёшь?
– «Ишь, выскочил герой!»
Руками разведёшь –
Народ за них горой.

И как тебя несут
Речисто, благородно!
Но линч ли, самосуд –
Суть та же – суд народный.

В промежность каблук
Вонзаются исправно.
Все серы колпаки –
Ищи того, кто главный!

Да вот он – имярек,
Научное светило –
Тот самый, что из тех,
Кому всегда светило.

И рукоплещет зал
(Вот-вот обрушит стены)
Тому, кто доказал,
Что лошадь кормят сеном.

Недаром трёт штаны –
По этой Сеньке – штаты.
Пекутся как блины
Такие ж кандидаты.

Хвала ему и честь!
Вот это, брат, шурует,
Науку всю, как есть,
По крохам разворует

Отменный прохиндей,
А при такой зарплате
Ворованных идей
Ему до смерти хватит.

*Прости меня, прости,
Лапуня, друг мой черный.
Собаки не в чести,
Но много ты учений.*

*Но Бог со мной, и – чур!
И не причём собаки...
Окончен перекур.
Пора вернуться к драке*

*За то, что ты умён,
За то, что думать смеешь,
За то, что на своём
Настаивать умеешь.*

*За то, что ты убил
Своё здоровье – прочерк,
За то, что ты горбил
Раз в двадцать больше прочих.*

*На подлость спрос возрос,
На свалку – благородство.
И вот апофеоз
Подончества и скотства!*

*Под крики «наших бьют!»
Вступая лихо в драку,
Партком и профсоюз
Начальству лижут...*

*И беззащитен слон –
Гора перед мышами.
И слабенький заслон
Шутя с дерьмом смешали.*

*(А ко мне на той неделе
Две пичуги залетели.
Залетели, посидели,
Окосели и запели:*

«Дурачок, не будь культурным,
Лучше стань номенклатурным».
Это что же, значит, братцы,
Можно проще выразаться?)

... Стена нечистых тел
Венчает мизансцену.
Ты стену лбом хотел?
Так на тебе! В застенок!

Застенок из забав,
Рассудку неподвластных,
И мне не по зубам
Одoleвать коварство.

Пружиной напряжён
И... по колено море...
Пером или ножом
Пройтись по этой своре.

Учили ж дурака,
Что жизнь не трали-вали.
Они ж во все века
Поэтов убивали.

Моё всегда со мной
И, лишь глаза прикрою,
Они передо мной,
Подонков этих трое...

Дорога далека...
Уехать? – Рад стараться!
Так честь невелика
С подонками мараться.

К отъезду и багаж –
Набор рубцов и шрамов.
Пленительный пейзаж,
Восторг – не панорама.

Конец стишка он не запомнил. Да это и к лучшему. И так он воздал им по заслугам.

...События, предшествующие очередному отъезду, мелькали в памяти одно за другим, как меняющиеся за окном вагона пейзажи... Савич уезжал в Орел разочарованный, раненый, больной, уставший. Начиналась новая история его жизни, захватывающая и с большими переменами. Но этого Савич пока еще не знал.



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОВЕСТИ

«СУДЬБЫ НАШИ»

Приложение 1

Мульта

А он до конца дней своих не забудет этот горный тракт, с неповторимо повторяющимся и вечно новым, запойным восторгом обновления... Почти экстаза. Почти слез! И чудная эта структура рождается из воздуха, синевы, гор, простора, и, конечно же, скорости. И, о эта лента асфальта, с бешено летящими бензовозами, серпантинные перевалы, отары медленно бредущих овец или яков, и цветы, и травы в человеческий рост, и кедры, и голубые ели, и пахты, и ... Такая русская, тягучая, березово-рябинная грусть над черными от глубины омутами.

Тракт лепится к реке, и река сопровождает тракт, и ластится к нему преданно и коварно. Плавность плесов, грохот порогов и водовороты под свалом молочно-голубой воды, торпедные выбросы тайменей, жеманно-балетные игры нельм, мгновенно-вороватые поклевки хариусов. Но вот дорога делает поворот вместе с рекой, и скалистый берег прижимает ее к воде близко-близко, и это называется бом. А клаксон встречной машины, старающейся стусеваться, спрятаться, вжаться в скалу как будто заявляет: «Все! Вам поздно сбрасывать газ!» И колеса, кажется, повисают над белой вздыбленной водой, сеющей влажную пыль, грохот и радугу, и... пронесло, а впереди идиллический покой долины, и панорама горных хребтов, облитых красным заходящим солнцем и прямой, как стрела, тракт, улетающий вверх к перевалу. И это нельзя передать. Нельзя представить.

Когда машина, оставляя приземистый и пыльный городок, утверждается на шестистах километрах чудес и откровений, а гор все еще нет и в помине, и по обеим сторонам тополя в линейчку – меняется не настроение ваше... Меняется мировоззрение, глубинная ваша суть... Смысл, содержание, естество!

Вы забываете все! Заботы. Беды! Недуги. Раскаяния. Представьте, что вы – волшебник. Чародей. Творец всего сущего, всего, что

в вас и вокруг вас. Вы давите на клаксон, заявляя о вашем всемогуществе, и почтительно и долго вас провожает согбенная, лениво и опасливо жующая отара, и с ней, на фоне заката, неподвижный и прямой, как скала, червлено-черный чабан на черной лошади, и Вам, Вашему клаксону охотно отвечает горное эхо. Вы говорите: «Сгинь!» и с космическим шорохом, и на метеоритной скорости...

И Вы не обременяете себя поворотом головы, вы итак знаете: «Он сгинул!» Вы говорите: «Стоп!», и смотрите не на застывшую природу – на миры! – Река. Небо. Горы. Сопки... И все-таки не зарывайтесь, и будьте бдительны: тракт может сбросить Вас, как норовистая лошадь, зазевавшегося седока. И тогда Вам навряд ли подняться. Но вот Вы спускаетесь к воде, и не можете только одного – остановить это летящее молочно-голубое бесчинство, и вдруг, в стороне от струи, Вы замечаете (в омутке под скалой) медленно шевелящего плавниками большого сига и замираете, потрясенный, и губы ваши шепчут какие-то слова... А потом сиг исчезает, растворяется в камнях и листьях, устилающих дно, и Вы уже не уверены: видели ли Вы его, или это просто игра бликов теней и света, и она подсунула его Вам, чтобы тут же шевельнувшимся ветерком, мелкой рябью стереть рисунок... А ваши губы все шепчут что-то, и Вам не хватает слов, и не хватает дыхания, и Вы никому не расскажете о Вашем открытии, и заберете его с собой в машину, дальше... Дальше.

Нет, это все-таки не Кавказ! Это выше. Выше не числом метров над уровнем моря, а нетронутостью своей. Заповедностью. Тайной.

А потом Вы останавливаетесь на ночь в туристском лагере ...

И лагерь будет пуст, потому что сентябрь, и сезон кончился. И Вас устраивают на ночь не в палатке, а в доме – настоящем доме, с камином и койками.

И на огонек к вам сойдутся старые друзья – кладовщик и бывший директор. И Вы будете блаженно щуриться на огонь, и пить за их здоровье, и чтобы не по последней, и закусывать печеной картошкой с жареным хариусом. А потом Вы узнаете, что кладовщик уже два года как на пенсии, а директор – (не хватило грамотешки!) вернулся к старой профессии – ушел в профессиональные охотники и заключил договор, и может Вас взять в тайгу дней на десять–пят-

надцать (как повезет!), и у него есть лицензия на марала (а уж где один – там и два!), и Вы загораетесь этой идеей, и пьете уже за успех совместной охоты и за орех (а в этом году редкий урожай кедра!), и Вы за все это пьете, и Вы знаете, что Вам рады искренне, и что радость эта взаимна, и Вам всем четверым до чертиков хорошо, и не хочется расставаться. И Вы даете дюжину обещаний, и все они, как клятва, и потом много времени спустя вы не хотите быть подонком, и жена старика едет в санаторий, куда она не могла попасть три года – и все потому, что Вы знаете к кому обратиться и кому что сказать. Бывший директор получает боевые патроны старого образца, потому что среди Ваших знакомых находится человек, у которого они есть, А потом... беседа останавливается, как мгновение, как время, которому некуда спешить, и тут выясняется, что у старика беспокойная жена, которая ни за что (ну ни за какие деньги!) не уйдет без него, и Вы выходите в темень и видите в полном мраке, в разрыве черных ветвей равнодушные и холодные ночные светила, и Вас пронизывает мгновенная и сквозная тоска по несбыточному... Вы жужжите фонариком и кидаете из кулака мятущийся, слабый и белесый стилет света...

А ему ехать через реку шатким, как мрак, навесным мостом, и завтра он приедет проводить Вас, и подкинет на дорожку вяленого хариуса. И вот... Мотор заводится, и качающаяся фара образует среди кустов дымный тоннель, и чудо техники – мотороллер берет подъем, и Вы долго слушаете его удаляющийся зуд. А потом Вы закуриваете и ждете, а там на другом берегу, где деревня, и давно нет огней, Вы замечаете, качающийся светлячок фары – это значит, что старик дома, и все в порядке. Вы возвращаетесь, а беседа агонизирует вместе с огнем камина, и пора разбирать постели и укладываться. А на следующий день все устраивается так, как Вам не могло пригрезиться в ваших самых роскошных снах. К тому же вам давно не снятся роскошные сны – вы засыпаете трудно и без сновидений; более того вас мучают ночные кошмары или что еще хуже – вам снятся ваш начальник и ваши сотрудники, и вы во сне вскрикиваете, скрипите зубами, а просыпаетесь в холодном поту, и все это нервы и переутомление. Но сейчас Вы в горах, и это не сон и не

сказки, и перед Вами поселок Элекмонар. Вам надо пристроить видавшую виды «Победу» вашего друга, который привез вас и вместе с вами пойдет в горы, и вы пристраиваете ее так, что повредить ей может только очень сильное землетрясение. Вам нужны две заседланные лошади – и Вы получаете их. Вы не охотник, но проявили повышенный интерес к ружью «Белка», и к седлу вашей лошади уже приторочено это ружье. Там в горах, куда вы отправляетесь, могут быть снегопады и холода, и на вас напяливают все то, что вы не сумели или не сообразили взять из дома. И вот кавалькада из четырех всадников покидает поселок и углубляется в тайгу, и поднимается все выше и выше, и уже движется без дорог и тропинок, и вброд переходит ручьи и реки, и вас мочат дожди, которые потом – еще выше – становятся снегом, холодным и сыпучим, и вы получаете все удовольствия, о которых мечтали. Вы ночуете в снегу и замерзаете до полного посинения, и метель за ночь превращает в сугроб вашу палатку. Вы трудитесь, как галерник, и набрасываетесь, как



Рыбалка. На фото Виктор Ильич справа

бандит, на простую гороховую похлебку из концентратов. Вы убиваете рябчика и дважды мажете по глухарю, а ваш друг, бывший директор, за один вечер кладет двух маралов. Вы бьете кедровую шишку, коптите мясо и пускаетесь в обратный путь с переметными сумами, под которыми ощутимо пошатывает вашу выдавшую виды лошадь. Потом вы садитесь в «Победу» и, напутствуемый дюжиной добрых пожеланий, катите дальше, и на душе у вас хорошо – отпуск еще не кончен, а тракт, который уносит вас, становится все живописней, потому что осень добросовестно раскрасила его в немыслимые цвета и оттенки.

Однажды утром вы просыпаетесь и обнаруживаете себя в палатке в полном одиночестве в весьма скверном расположении духа. Вы по кускам извлекаетесь – сначала из спальника, а потом из палатки, и суставы ваши не гнутся, а на дворе мороз и солнце. Когда вы, надсаживаясь, стараетесь пропихнуть ваше изрядно одеревеневшее тело в дверь, вам за шиворот устремляется кусок сугроба, величиной с деревенскую баньку по-черному. Почему-то это не способствует улучшению ваших взглядов на жизнь, и пессимистическое начало овладевает вами безраздельно и, по крайней мере, до завтрака. Но если бы вы знали, что вас ждет в самом ближайшем будущем, вы бы предпочли мерзнуть, изображать спящего, а не торопиться подчеркивать своим пробуждением принадлежность компании. Вы обнаруживаете всю компанию занятой делом. Юра, директор, колдует над костром; Иван, его ученик и напарник, скалит зубы и привычно клянется научить городских фраеров бить шишку, а не баклуши, и они его еще попомнят... Толя Фетисов, огромный медвежеватый увалень, прошедший огни и воды, блистательный владелец весьма потрепанной «Победы», бреется трофейной немецкой бритвой и в третий раз пытается рассказать «истинную историю» о том, как он, бродя по немецкому тылу, нос к носу столкнулся с бредущим немцем, и оба до того растерялись, что он чуть было не забыл прихватить эту безопасную бритву, и потом за ней даже пришлось возвращаться с дороги. А, возвратившись, он еще раз убедился, что «язык» испорчен безнадежно и уже никогда не заговорит, и наделал все это один его левый кулак и, представьте, без всякого осмыслен-

ного участия своего владельца. И, глядя на его громадные, в черных волосках кулаки, не хочется думать, что история придумана, потому что она могла ведь случиться и на самом деле.

Когда вы предстаёте перед компанией, вам становится еще уютнее, потому что вы скромны от природы, и не любите быть в центре внимания. И вы успеваете искренне пожалеть о том, что ребята они общительные, разговорчивые и в палатку или в карман за словом не лезут. И все же вы поражены быстротой, с которой они находят общую тему для разговора, и мучаетесь до тех пор, пока вам на глаза не попадается пустое ведро. Вы хватаетесь за него, как за якорь спасения, а проснувшаяся в вас жажда деятельности вызывает бурный восторг ваших товарищей. И вот вы начинаете торить дорогу к ручью, а он течет себе за стеной из кедров и путь ваш извилист и труден, потому что ночь преобразила мир снегопадом и метелью. Вы подходите к голубому, шумящему диву, совершающему бег среди ледяных стен и причудливых сосул, и погружаете туда ведро, а, извлекая его, поднимаете голову. Но лучше бы вы не делали этого, потому что на той стороне ручья в каких-то десяти метрах от вас вы видите огромного медведя. Он стоит на задних ногах в полный рост, и его глаза измеряют такую тщедушную вашу фигуру с пристальной и враждебной созерцательностью. Рот его открыт. Вы видите розовый язык, и вам кажется, что вы слышите какие-то затухающие в его пасти звуки. Он увидел вас первый и без излишних предисловий навязывает вам свободную дискуссию. Вероятно, пока вы черпали воду, он с простодушием зверя и с лаконизмом оратора, привыкшего уважать аудиторию, успел выложить вам все, что он о вас думает, и теперь, высказавшись, он ждет ваших возражений. Почему-то у вас хватает благоразумия не просить его повторять дважды не услышанные вами фразы, и тут вы доказываете свою гениальность, совершая одновременно целый комплекс разнообразных по содержанию действий, объединенных логикой ужаса и внезапности. Вы роняете ведро, и оно, колотясь о камни и ледяные торосы, вносит свой звуковой вклад в эту непродолжительную и одностороннюю беседу. Одновременно вы поворачиваетесь и стелитесь над сугробами с ревностью, которой вы в себе до того

и не подозревали. Одновременно вашу гортань покидает система воспроизводимых звуков, вероятно знаменующих собой самый решительный отказ от каких-либо притязаний на не принадлежащую вам территорию, наконец вы обнаруживаете себя в сугробе после того, как ухитряетесь сбить с ног громадину Фетисова, который с наивностью горожанина и самоотверженностью сформированных рефлексов фронтового братства первым устремляется вам на помощь. Потом к вам (не сразу!) возвращается ваша врожденная застенчивость, а также способность объясняться с себе подобными, и на единокдушный вопрос: Где? вы посылаете всех так далеко, что дожидаться их возвращения, вероятно, не станет ни один уважающий себя медведь.

Потом вам рассказывают, что это был не медведь, а медведица, что встреча с вами для нее тоже неожиданность, и что с ней был медвежонок. А его следы на снегу так похожи на отпечаток детской ручки с коготками.

Еще через час все четверо убеждаются, что состоявшееся приключение непостижимо парадоксальным образом повлияло на ваш аппетит и проворство, с которым вы орудуете ложкой, вызывает обмен многозначительными взглядами и недвусмысленными репликами. Толя Фетисов утверждает, что его начинает угнетать наглядно уменьшающаяся доля в общей трапезе. Иван находит заметную диспропорцию между поглощенной вами едой и фактической пользой, которую вы приносите. Юра резонно замечает, что из всех четверых вы один действительно нуждаетесь в прибавлении веса. Остальным пойдут к лицу приобретенные в тайге поджарость и спортивность. Во время этого обмена субъективной информацией вы не теряете времени даром, а добираетесь до мешка с сухарями и, к всеобщему неудовольствию, наносите ему значительный урон. Потом все по очереди и одинаково безуспешно пытаются воспроизвести богатую звуковую гамму, сопровождавшую ваш полет над сугробами. Вы говорите: «Не так!» И изо всех сил орете: «Медведь!!!» Они находят, что вам это удастся еще в меньшей мере, чем остальным, потому что вы орал не «Медведь!», а «Мама!»

При этом вы замечаете, что чем азартнее вы настаиваете на своем

варианте, тем веселее и самодовольнее выглядят ваши оппоненты, а ваше настроение, соответственно, вступает в фазу обратных пропорций. Но вот вы все четверо принимаетесь за плотницкие работы. Из отобранных Юрой лесин сооружается в два человеческих роста деревянная кувалда. Двое встают спиной к кедру, а один лицом, и под дружное «Р-раз!» деревянная колотушка обрушивается на ствол. Вас осыпает град шишек, и вы с мешком бегаєте вокруг дерева, как мальчик и собираете их, и занятию этому нет конца. Вскоре вы его находите чрезмерно утомительным и однообразным и просите заменить одного их бойцов, на что вам резонно отвечают, что необходимыми для этого физическими данными вы никогда не располагали, а сегодня полностью истощили свои силы в героическом единоборстве с содержимым котла. Шишкование продолжается три дня, а вечерами Юра и Иван уезжают верхом искать маралов, и вы полночи слышите рев рогачей в стороне, всегда противоположной той, куда устремляют неспешные копыта их выдавшие виды, грустные и не верящие в успех клячи. Когда они возвращаются усталые и пустые, вы уже спите, потерпев очередное поражение от сонного Фетисова, с которым вы делите на двоих одну меховую шубу, накрываясь ею поверх спального мешка. Еще до того, как вам удастся уснуть, он поворачивается на бок, и больше вы не ощущаете на себе необременительные тяжести и тепла овчины до самого конца ночи, до тех пор, пока он не проснется и, выходя из палатки, заботливо не укутает вас шубой, но это происходит тогда, когда вас уже ничто не в состоянии согреть, вернее, оттаять.

Потом, после завершения экспедиции, была Мульта. Но здесь не требуется ни описательства, ни приключений, потому что все, что Савич хотел бы написать о ней, он сказал в песнях.

Савич выбрался из палатки. Серело. Ознобный клокастый туман наплывал с озера. На сизом небе чахли редкие звезды. Он зевнул, зябко передернул плечами, сгорбившись, запахнул ватник. От подернутого золой костра тянуло слабым дымком. В двух шагах, укрывшись с головой маральей дохой, безмятежно сопел Герман. Савич наклонился над кучей вещей, сваленных под кедром, стараясь не шуметь, отыскал брезентовый чехол, вытащил телескопическое

удилище, приладил катушку, провел через кольца леску. Застойная тишина рассвета, медленно оседающая, плыла над Мультой – дымом, туманом, осенью...

Савич, не торопясь, закурил. Достал из кармана жестяную коробку со снастями. Покопался в ней. Выбрал желтую с палевым оттенком мошку – подумал, усмехнувшись: «Осенняя!»... Спустился к Шумам. Дрыгая по камням, пошел к озеру. Он встал на выступ скалы, стараясь меньше двигаться, слиться с камнями, чтобы его не было видно с воды, по слабенькой, чуть приметной ряби, с микроводоворотами струй – пустил мошку. И сразу из-под скалы, как будто из-под его ног, следом за ней метнулась сизая тень хариуса. И он увидел, как не спеша, снизу, без привычного (острым азартом, бьющим в лопатки ознобом) выпрыгивая, рыбина раскрыла рот и взяла мошку. Савич коротко рванул удилище в сторону, подсёк – оно напряглось, выгнулось ...И вот в руках тяжелое и плотное, с зеленоватыми пятнами по бокам, блеклой радугой спинного плавника, отливающее аспидной чернотой брюшных плавников и жабр – бьющееся тело хариуса! Он с трудом извлек из судорожно раскрывающегося рта рыбы глубоко заглоченный крючок, и сразу ладони и пальцы стали красными от крови. Втискивая рыбу в сумку и преодолевая дрожь не улегшегося возбуждения, мельком успел подумать: «К непогоде!» и, расправив мошку, снова пустил ее по струе.

Туман редел. Где-то за спиной всходило солнце и розоватые, неяркие блики рассвета медленно текли по синей мультинской воде...



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

На рыбалке

Отпуск начался для него в пять часов утра, а в шесть он был уже у Клюева. Они пошли к базе и спустили лодку с мотором на воду. Вещи были задолго до поездки снесены на базу, и часа два ушло на то, чтобы разместить все в лодке, и все равно она оказалась заваленной рюкзаками, свертками, канистрами с бензином и вином и другим скарбом. А Лапуня все время путалась под ногами и засматривала в глаза, и поскуливала нервно и с ознобцем. Она тяжело переносила длительные вояжи, скучала по дочери Савича, переставала есть, и вид имела замученный и препечальный. Они все проверили – не забыли ли чего. Все оказалось на месте.

– Ну, отходную! – сказал Клюев и достал бутылку портвейна.

Они разлили вино в железные кружки, выпили, перекусили слегка, и Толя отвязал лодку и оттолкнул ее от деревянных мостков. Виктор, кое-как управляясь с веслами, с трудом ворочая ими над грудой барахла, отвел ее подальше от берега, а Клюев, шутливо перекрестившись, начал дергать стартерный шнур. Он долго не хотел заводиться, этот надежно отрегулированный, сто раз проверенный и прошедший полную профилактику механизм.

Лодку несло вниз, и они проплыли под мостом, и наконец мотор заработал, и полетело навстречу стремительное и слепящее сибирское лето, и разворачивались берега, показывая заросли ивняка и боярышника, и то медленно, то быстрее уходили назад береговые дебаркадеры, заякоренные лодки с рыбаками, и с низких берегов вдруг наносило незабываемо острым, душным и резким, как прозрение, запахом покоса – ароматом сохнущего разнотравья, и жизнь была удивительной, и летела, как вода за бортом.

Они прошли, не останавливаясь, более ста километров. Береговые пейзажи потеряли знакомые очертания, а Лапуня сидела тихая и отрешенная, и, только на крутой волне, постыдно повизгивая, жались к Виктору.

Они облюбовали себе остров – полоску золотистого пляжа,

а сразу за ней заросли ивняка, а у берега совсем слабое течение и довольно глубоко – все как было обусловлено заранее. Они успели до вечера разбить лагерь: поставили две палатки (одну для скарба), расстелили спальники и надувные матрацы, чтобы все как у людей, а Толя с энергичной своей обстоятельностью сколотил еще стол и две скамейки. Лагерь принял обжитой вид. Они разбросали по берегу пять закидушек «на галушку» и подвесили к ним колокольчики. Потом был костер, ужин из консервированной тушенки с картошкой, вино и кофе. Они поужинали не торопясь, и долго сидели у костра, разомлевшие, успокоенные и счастливые, а Лапуня, самозабвенно поварчивая, деловито лазила в воде у самого берега.

Вдруг справа в полной темноте послышался слабый звук колокольчика. Они сорвались с места, побежали по берегу, отыскивая на слух работающую закидушку. Толя вспомнил про сачок и, чертыхаясь, возвращался за ним к костру. А Виктор уже тащил на берег большого, вяло ворочающегося язя, и оглашал тишину радостно-ликующими криками. И общий этот осмысленно-счастливый переполох разделяла и усиливала Лапуня, прыжками, повизгиваниями, переходящими в залиристо-прочувствованные собачьи восторги.

Потом они «поднимались по звонку» еще дважды, поймав еще двух язей, и последний был маленький – с женскую ладошку. Толя отрезал ему голову и хвост и, выпотрошив, разрезал пополам, а затем насадил на два огромных крючка. В полной темноте они спустили их прямо в кусты, торчащие из воды слева, там, где заканчивался песчаный пляж.

Они улеглись, наконец, прямо в плавках поверх спальников – ночь была теплой, как парное молоко – и Лапуня все норовила холодный свой нос с судорожной преданностью затолкать поглубже Виктору подмышку.

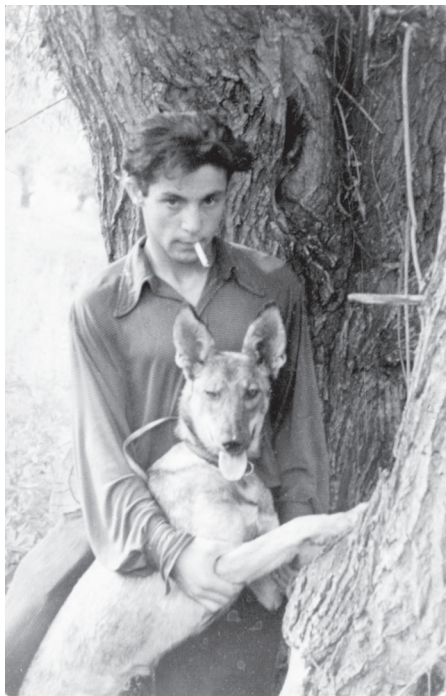
Савич долго не мог уснуть, слушал непривычную тишину, ворочался и все хотел услышать, напряжением неулегшегося нервного возбуждения своего, далекий звон колокольчика. Но тишина была непроницаемой, теплой и плотной, как стена, а справа безмятежно посапывал Ключев, и время от времени глубоко и несчастно, совсем

как человек, вздыхала разлученная с Аленкой Лапуня, и он уснул, наконец, глубоко и без сновидений. А пробуждение было легким и радостным, и впереди лежал целый мир, длиной в тридцать дней бродяжничества, раскованности, свободы, беззаботности и счастья.

Он послонялся по берегу, покурил, посматривая на дымно розовую реку, и, зная по опыту прошлых поездок – какое это безнадежное, дорогое и неинтеллигентное занятие – будить Толю просто и без предшествующего канюченья: «Ну, Толь! Ну вставай!» – выволок его из палатки за ноги, и они, как расшалившиеся щенки, повозились на песке, а с того берега над глинистой крутизной поднимался огромный и раскаленный с самого утра шар. Выкупавшись, они захватили сачок и мешочек с галушками, пошли проверять закидушки, и Толя выволок еще одного язя, и был он огромный, с лоснящейся синей с краснотцой спиной, и шел на берег, казалось, не оказывая сопротивления, и Клюев восхищенно определил на глаз – килограмма три, не меньше! И если и преувеличил – то самую малость. Таких им не приходилось брать в лодку. Виктор знал, что язь на крючке буен, и меньший вдвое ощутимо рвет руки, а в этом была прелесть борьбы, и легкость, с которой выводились на берег, удивляла и слегка разочаровывала его. Они не торопясь пошли к кустам, не ожидая ничего больше, а лесы оказались запутанными в кустах, и никак не хотели вытаскиваться. Клюев полез в воду и долго колдовал в ивняке и ломал его под водой, и вдруг поднял на лесе окуня – огромного – больше того язя с черно-зелеными полосами, алыми сверкающими плавниками. Он был величественен, велик и прекрасен, и таких окуней им еще не приходилось видеть, а на второй лесе сидел еще «секач», но вдвое меньше первого.

Они прожили на острове три дня и ловили одних язей, и отвозили их в село напротив, и раздавали женщинам, а те их щедро поили молоком и наполняли питьевую канистру оскоминно-кислым, «со льда», деревенским квасом, а лето горело во весь зенит, и жара стояла фантастическая.

Потом они плыли вниз, а недалеко от Камня реку ощутимо стиснуло, и между глинисто-обрывистых, высоченных, с оползнями, берегов летящая вода и небольшой кусок реки за поворотом созда-



*Виктор Кузник с любимой собакой
Лапуней*

вали неповторимую иллюзию резкого наклона вниз и вбок, наклона настолько крутого и скользкого, что въезжать в это сверкание, стремительно улетающее за поворот в неведомо какую бездну, было страшно и радостно, но за поворотом была ровная и без наклона гладь, а впереди уже виднелся Камень, и постройки, и дебаркадеры, и железнодорожный мост через реку, и не было ни водопада, ни преисподней, а река разливалась широко и ровно. Они плыли дальше и смотрели, как раздаются берега, и в лабиринте рукавов, островов и протоков облюбовали себе покинутый кем-то, но отлично обжитой лагерь, и решили здесь жить

до конца отпуска, а Клюев сразу определил невероятной щедрости красоту вокруг всего двумя словами: «Наше Эльдорадо». Так и называли они эту часть реки и тогда, и потом, в воспоминаниях.

Они проснулись ненастным утром, и разбудил их Лапунин лай. Мелкий холодный дождь монотонным шорохом осеял палатку, а сильные порывы ветра время от времени переводили шорох в дробные удары о мокрое полотно. С реки доносился шум мотора, работающего на малых оборотах и приглушенные ветром, дождем и расстоянием голоса людей. Они выбрались из палатки как раз вовремя. К берегу подходил катер «Прогресс» с красным флажком на носу, и трое рослых парней в дождевиках с поднятыми капюшонами перебрасывались короткими репликами. Лапуня при виде Виктора еще добавила активности, и он сразу решил поразвлечься, и шепотом: «Лапуня, фас!» А она, казалось, только этого и ждала, и завертела

ею бешеная страстность мгновенных добермановских реакций. Но запал такой злобы нуждался в поддержке, и чуть слышно: «Хорошо, лапоть, хорошо!» Морда в пене, клыки – вот они под противно сморщенной и поднятой верхней губой, обезумевший лай с дикими метаниями по берегу, и только что железо лодки не грызет.

– Здравствуйте, – сказал тот, что был поближе, – Уберите собаку, пожалуйста! Рыбнадзор.

Виктор ласково: «Джемка, иди сюда! – бесполезно. Строже: – Иди сюда! Я кому сказал?! – напрасный труд». Тогда он начал бегать за Лапуней, отчего она пришла в настоящее неистовство. Она по-добермановски шутя уходила от протянутых рук, тем более, что шепот: «Хорошо!» и «Фас!» не прекращался, но надежно заглушался дождем и ветром, а у нее был отличный слух, и требовалось ей одно единственное, но решительное и бесповоротное: «Ко мне!» или «Фу!». А этого он как раз и не хотел говорить. А всякие там: «Иди сюда» или «Я кому сказал!» она если и слышала когда-либо, то только в исполнении чужих и посторонних, и игнорировала эти словосочетания с высокомерием наследственности многих поколений доберманов. У них никаких браконьерских снастей не было, и нечего было бояться, но братию эту и их бесцеремонность, может быть, иногда и оправданную, они хорошо изучили раньше и возмущались не раз и унижительными обысками палатки или лодки, и демонстративной ездой перед лагерем с кошками в поисках сетей или другой запретной донной снасти.

Наконец, один из них не выдержал и заорал, что пристрелит суку и: «Ее мать!», и на Клюева:

– А вы что не помогаете ее ловить?!

– Да я к ней и в доброе время подходить боюсь, а уж когда она озвереет...

А Виктор неторопливо и обстоятельно объяснял между тем, что доберман-пинчер охраняется законом не менее строгим, чем правила охраны ценных пород рыб, и какие мгновенные у него перехваты, какая замечательная злоба и чутье, и другие служебные качества. А Толя не поленился, полез в палатку и вытащил захваченный на всякий случай Лапунин парадный ошейник с шестнадцатью золотыми

медалями и жетонами за дрессировку. Граждане в лодке собаку заметно зауважали, и один спросил, остывая:

– Что же она дурная такая?

– Да я ей не хозяин. Хозяйка – моя дочь, а меня она плохо слушается, ну а в таком запале может и меня, грешного, хватануть по-чем зря. У нее вон зубы-то, как у крокодила, – вдохновенно клеветал Виктор на добрейшую интеллигентную Лапуню, которую уже ни один инструктор не брался учить кусаться. Лапуня между тем успокоилась и только повизгивала нервно, и все не хотела прятать клыки. Она с явным одобрением слушала лекцию о доберманах, которую Виктор экспромтом читал чужакам. Они так и не сошли на берег и попросили Ключева с Савичем оттолкнуть катер, и, безнадежно потаскав кошку перед лагерем, на малом газу отбыли на своем «Прогрессе». А самый молодой даже поинтересовался, где такой породы щенка можно купить. А друзья хохотали и тискали Лапуню, а Виктор сказал: «Это ее тишина и малолюдые воспитывают, то ли еще будет?»

Делать было решительно нечего. Все предвещало затяжную непогоду, и Виктор, пристроившись с блокнотом, пытался смастерить дорожную поделочку – что-то вроде туристской песенки, хотя никогда в жизни не был в числе организованных туристов, но мало ли каких причуд не бывает, когда из палатки носа не высунуть, все отсырело, холодина адская, и партнер не то спит, не то просто не расположен к разговорам. Ключев завозился как раз, нерешительно потянулся к канистре с вермутом, позвякал стаканами – потом донеслось знакомое бульканье. Он покосился на Виктора – тот, не глядя, протянул руку, получил стакан, выпил залпом, сморщился, и переводя дух сказал саркастически:

– Трое в лодке, считая собаку. Глава 2. Запой. Дай конфетку. Слушай, Толь, где ты такую мерзость раздобыл? Не иначе – восемьдесят две копейки с посудой, а?

– Два пятьдесят – литр. Разливное, – гордо и жизнерадостно сообщил Ключев. – На поток мотался за ним на мотоцикле, а ты – «мерзость!» и деловито осведомился:

– По второму?

Выпили еще по стакану, лежали. Лениво перебрасывались фразами. Виктор почувствовал, как одновременно со знакомой слабостью, приятно разливается по телу волна блаженного тепла. Голова заработала быстрее, слегка одеревенел язык, и расплывчатые образы, обрастая плотью, заторопились на бумагу. Песня со скрипом, но пошла.

– Ну, почитай что ли, что ты там изобразил, – благодушно сказал Клюев.

Тогда Савич, держа блокнот перед глазами, запел фальшиво, и каждый новый куплет на новый прыгающий мотив, потому что слуха не имел совершенно.

*Так подъемы на сопки круты –
Взвесь силенки, и жми не очень!
Не сойдешь отдохнуть с маршрута,
Ведь тропинки-то без обочин!
Горизонт наш (что делать?) сужен,
А запросы (увь!) не очень!
Но в походных котлах на ужин
Лето варится, между прочим!*

– Стой! – сказал Клюев. – Ну наворотил! Тут у тебя ерунда какая-то, Вить! Какое лето? Это картошка, что ли? Это у тебя символ такой?

– Ну как ты не поймешь, прозаическая твоя душа – образ это! Поэзия!

– Образ, – фыркнул Клюев, – Ты бы побрился лучше, а то образ твой на человеческий перестает походить, – и он захохотал довольный каламбуром.

Виктор хотел было обидеться, но пьяное желание самому услышать свою песнь – пересилило:

*Необищательны и горбаты,
На путях кабанов и лосей,
Мы рюкзак, как больного брата,
На плечах из тайги выносим.*

*Потому-то мы и отпеты,
Как пропащие без возврата,
И мелодиями рассветов,
И симфониями закатов.*

– Шедевр, – сказал Клюев, все больше кося и приходя в отличное настроение, – особенно в твоём песенном варианте. – И заорал-завыл диковато и торжественно: – Юрий Кукин, нет – Муслим Магомаев! Майя Кристалинская. Гаева Мечеть. Шах ин шах Мохаммед реза Пехлеви, – он любил такие неожиданные наборы несоединимых имен, своеобразную абракадабру, выражаемую бессмысленными идиотическими воплями, и как всегда они оба расхохотались. А потом спросил:

– Еще по одному? – а когда выпили, – А про лодку? Про спускники можешь?

– Нет, Толь, настрой не тот. Не до поэзии. От одной погоды и от такого партнера озвереть можно. Вот-вот Лапуню за ногу укушу.

Они все заметнее пьянели, хохотали без видимой причины, веселились.

– Чего нам не хватает, – мечтательно протянул Клюев, – это Кости Старшинова. Почему? Потому что выпито все было бы в первый день, и у нас не было бы причин морально разлагаться под непрерывный шум дождя. И мы бы сейчас сидели замерзшие, трезвые и злые как собаки. Во-вторых, мы бы сейчас не перли друг на друга, а дружно бы навалились на него, и он бы уныло и довольно бездарно отбрехивался. В-третьих, мы бы несколько часов тому назад подписали бы акт рыбанадзора по поводу обнаруженных ими наших снастей, потому что Костя, тайком от нас, поставил бы сети, и в конце концов уговорил бы меня воткнуть их под нашим берегом, и оставшуюся часть отпуска мы бы могли вдохновенно и вольно фантазировать на тему, во что это нам всем обойдется. И, в-четвертых, настроение было бы испорчено не сегодня, на восьмой день плавания, а с первого же дня, и не погодой, а Старшиновым. Ну ладно, вставай, Пихтач, – закончил он любимым прозвищем, придуман-

ным им для Савича, от которого тот зачастую приходил в состояние тихого бешенства, – пойдём в походном котле лето варить.

– Да оно, Толь, похоже, и без нас сварится! Вон кипит как – лупит по палатке.

Так они сидели и базарили, трюня друг над другом и запивая все это разливным, два пятьдесят – литр красным терпким прямо из бочек вермутом, и неистовствовал над палаткой ледяным дождем и порывистым ветром сибирский непутевый июль. И было им хорошо, и отпуск лежал впереди, только-только тронутый, а до конца еще вон как далеко, и ночью еще похолодало, и вызвездило, и утро окатило их солнцем и небом, теплым, мягким и безоблачным, и опять им вовсю сияло лето.

Они вышли из-за скалы. Виктор ахнул. Синяя лагуна цвела белыми лилиями двух лебедей... А Клюев уже рвал бескурковку с плеча, отводя правый локоть, приложился... Савич успел сильно толкнуть ложе вверх и в сторону. Сдвоенный грохот покатился над озерами, и они увидели, как один взлетел, и тут же вновь опустился на воду, и оба, помогая себе бешено работающими крыльями и вытянув узкие тела, стремительно рвались из лагуны в озеро.

– Ты прав, старик, – сказал Клюев, вытирая рукавом вдруг вспотевший лоб, – Я и не понял сразу, что это лебеди – сроду их в Алтае не видал.

– С одним что-то случилось, наверное, а второй составляет компанию, – предположил Савич. – Может и зазимуют здесь. Тогда конец обоим.

Они вытянули закидушки. Обе оказались пусты, наживка сорванной. Издалека от лагеря донесся призывный выстрел Германа, и они, оставив снасти на берегу, поспешили к палатке.



О ВИКТОРЕ КУЗНИКЕ ВСПОМИНАЮТ...

ДОЧЬ МИРА

Двор, в котором мы жили, утопал в зелени. Вот ты смотришь в окно и говоришь: «Какая красота у нас тут... Как я раньше этого не видел!» А под окном черемуха, рябина, клен, яблони, яблони...

Посмотришь в окно, скажешь: «Здесь, оказывается, красоты... Я, себя год за годом снашивая, этого не разглядел – нищий! Вот и рябины выросли, так их много здесь – птицам счастье! Бьются с размаху мысли. Разум рвется на части... Не нахожу своего участия в этом калейдоскопе ряженных. Вот и черемуха источает вне зависимости от бед вчерашних, моего отчаянья, твоей беззаботности – ароматы, – заварим чая... Знаешь, ведь сегодня суббота, как мы с тобой этот день встречаем!» Мы шагали с тобой меж яблонь, между краем и самым краем. Боже, если понять тогда мне этот путь,



Виктор Кузник с женой Светланой и дочерью Мирой

он так узнаваем! Он – преддверие расставаний тех, что не обещают встречу... Так уж вышло – от этих знаний и сегодня укрыться нечем.

Отвлекаясь от всего, что я знаю и слышала о тебе из рассказов, воспоминаний, твоих стихов, прозы... Погружаясь в то время, вплоть до момента, когда мы расстались, и мне было восемь, хочу рассказать, каким ты был в моей жизни, папа...

Ты был солнцем. И моя детская жизнь была освещена, согрета, наполнена тобой. Вокруг тебя вращались мои чувства. Солнце.

Я рисовала тебя, слушала, как ты читаешь мне сказки Пушкина, и знала их наизусть, и все-таки хотела слушать еще – в твоём исполнении, они звучали волшебным образом. Ты был рядом, когда я болела. Ты создавал такое ощущение защищенности. Я всегда знала, что в твоём присутствии ничего страшного не случится. Это чувство появилось и не исчезало никогда. Застрявшая в горле рыбная кость. Ты с пинцетом в руках приговариваешь: *«Дочь рыбака, а рыбу есть не умеешь!»* и вытаскиваешь кости, и они застревают снова, и ужасно хочется научиться есть рыбу. Или я на берегу Волги, посреди красного заката, кричу тебе: «Папа!» и ты поворачиваешь лодку, приближаешься к берегу. Нас ждет ужин. Детство наполнено тобой, самые обыкновенные дни и ночи становятся волшебными. Правда, пап, из моего восприятия тех лет – именно волшебство во всем. Мы идем с тобой воскресным морозным днем. Идем в гости. Ты держишь меня за руку, и мне приходится быстро семенить ногами – таков темп твоего шага. Я, счастливая, бегу, лечу. Мысли нет сказать: давай по-медленнее... почему-то так ярко вспоминается этот момент.

Летнее утро – дома переполох, как бывает в предновогодний вечер – ощущение праздника. Вылезаю из-под одеяла, иду на кухню, а там... кролик!!! Серенький, длинные уши, нахохленный. Ты пошел на рынок за дыней и вернулся с кроликом. Да-да, представляете? Или еще одно утро. Из кухни доносится запах поджаренной рыбы – ты принес ее утром, наловил спозаранку. И еще ты принес ежика. Да, пап, и потом он жил у нас в духовке, а ночами оглушительно стучал своими лапками – так мне сказали родители, я-то не слышала во сне. И вот мы его несем к нашему другу Льву Исаковичу – там дом, сад, там нашему ежику будет хорошо!

*«Рожа растворена – лопают морожено,
С белой ложкой в кулаке – только двойки в дневнике!»*

Да, это я мороженое глотаю большими кусками, а ты сочиняешь стишок, и вот же счастье!! Папа мне написал.... За столом один из любимых моментов – тут ты сидишь напротив, и мне ужасно нравится внимательно рассматривать все черточки-щербинки на лице – любимые. Ты такой красивый, пап! Ты очень интересно ешь геркулесовую кашу – бережно забирая ложкой снаружи, пока на тарелке не останется тонкая полоска мяса, и скоро она исчезнет... этот момент зачаровывает. Ты промокаешь хлебные крошки кусочком хлеба – ни одна не пропадает (это привычка из твоего военного детства)...

Вы с мамой на сцене, в зале тубдиспансера, я за кулисами слушаю «...Пропустите, пропустите меня к нему, я хочу видеть этого человека!»... Хлопуша в твоём исполнении. Мне было страшновато и восхитительно хорошо... ты так отдавался этому хрипящему монологу... а я из-за кулис суфлером: «Кто ты, кто, мы не знаем тебя...»

У нас праздник. Приехал твой лучший друг детства Лева. Лева так смешно что-то рассказывает. И вы лежите на полу, задрав в воздух ноги, хохочете, держитесь за животы, вот умора!

Ты перфекционист, папа... да, точно. Усаживаешь меня с прописью, и мои каракули должны превратиться в каллиграфию, и я выворачиваюсь наизнанку (а заполнять прописи – одно из нелюбимых занятий), стараюсь, моя ежеминутная задача – нравиться тебе. Ужасно хочется нравиться! Мне в радость, буквы выравниваются, а потом ты начинаешь диктовать какую-то несурезицу... и хочешь, когда я все это записываю – у ребенка должно быть чувство юмора...

– Папа, когда я вырасту – стану коммунистом!

– Мируня, послушай меня – не все коммунисты хорошие люди. Просто послушай и не рассказывай об этом.

Нет, конечно, я могила... мне можно доверить такую тайну и многие другие.

Ты идешь с рыбалки, я несусь навстречу, и с такой гордостью – мой отец! И дети бегут рядом, смотрят на твой улов.

Или возвращаешься с работы – бегу, как сумасшедшая. Или ты

звонишь: «Свекол (маме), я иду домой» – мы одеваемся, бежим, встречаем тебя. Так мы и жили-поживали. Стоите с мамой в обнимку. Я обнимаю вас за колени, и мы так стоим втроем, и нам хорошо, мы дома. В любое время – дома, где бы ни обнялись.

Улетаем с мамой в Саратов к твоим, буквально на пороге Зоино-го дома нас ждет известие, что пора возвращаться, ты звонил, ты скучаешь...

А позже, ты уже болен – и мучаешься, и стонешь, я подхожу, сажусь рядом, начинаю гладить по голове, и ты перестаешь стонать... чего тебе это стоило, пап... И однажды раздается звонок в дверь – открываю – на пороге высокий мужчина в черной шляпе – Леня! Друг из твоей уже взрослой жизни. Он прилетел и не оставляет тебя больше, он рядом... ты чтить дружбу... твои друзья из историй Джека Лондона и О. Генри...

Меня отдали в хореографию, и эти долгие вечерние занятия зимой, и мама ждет меня там – возвращаться домой ненадолго нет смысла. И вот мы с ней идем. Метель, огромные сугробы, и сзади нас обнимает кто-то, выныривает из темноты – ты: «Девочки, как вы долго, я заждался». А дома запах печеной картошки, вкуснее ее ничего нету... И на столе лампа зажженная, и ты работаешь, пишешь что-то...

Поднять руку на ребенка?! Что вы... ты мог как-то особенно посмотреть, и этого было достаточно, чтобы мне больше так никогда-никогда... А однажды я не пойми зачем сказала «дурак» – тебе... видимо слово понравилось. И эти несколько дней, когда мы не говорили... ну нет, так не нужно было... Боже мой, как же они запомнились.

Пап, тебя ведь на самом деле почти не было дома, ты работал отчаянно, а в моем детском восприятии – всегда был рядом, ты умел это распространить в пространстве-времени, и это происходило потом, уже после нашего расставания – долгие годы. Ты разговаривал со мной в самые разные моменты моей жизни. Мне показалось? Знаю, что нет.

Эпизод из детства – бегу наперегонки с девчонками, падаю, сильно повреждаю подбородок, кровь хлещет. Меня привозят к тебе в отделение (ты тогда уже болел и лежал в палате), а твои коллеги зашивают

мне кожу на подбородке, остается шрам... Спустя много лет я чудом спасаюсь, упав с высоты, без серьезных повреждений, будто кто-то взял на руки и положил бережно на землю. Потом смотрюсь в зеркало – на подбородке порез, и первое что приходит «спасибо, пап...»

И после, в одной очень серьезной ситуации, когда была далеко от дома, и заболела мама, и пришлось отвоевывать ее на расстоянии, добиваться спасительной инъекции, блокирующей цитокиновый шторм, с длительным мучительным ожиданием, в вышагивании по лужайке Израильского кибуца услышала внутри твоим голосом сказанное: «Ты все правильно сделала»... – «Папа, что же ты молчал все это время», – и опять: «А ты не спрашивала»...

Но там, в детстве, задолго до этих моментов – мы с тобой идем в гости ярким морозным днем, быстро идем, мне приходится почти бежать, ты держишь меня за руку... И мне сегодняшней хочется сказать: «Папа, пожалуйста, помедленнее...»



5 курс. На военных сборах. Виктор Кузник и его друг Владимир Зюзин

СЕСТРА ЗОЯ

Я приближаюсь к одной из глав моей жизни – к брату своему Виктору. Витька, Витек, Витюша – так мы называли его в зависимости от настроения. Как ты был хорош собой, даже сам того не зная. Все, начиная от внешности: какое лицо, какие глаза, какой ум, какие способности. Вот уж воистину: хватило бы на несколько человек, но досталось все ему одному. Он мог, казалось, всё. Поставить спектакль, как правило, поэтический, потому что он любил поэзию. Писать стихи, да еще какие! Выучить запросто английский. И оперировать, оперировать. И обязательно самые сложные операции, какие только были в хирургическом отделении. Я была свидетелем того, как он в течение шести-семи дней не отходил от тяжелобольного, выхаживая его.

Он был невысокого роста, но, как нынче говорят, ладно скроен. И, единственный – красивый в нашей семье (не считая родителей). Тяга к спорту не обошла его стороной. Он мог скрутить сальто – прямо на асфальте. Замечательно боксировал (держал первое место среди юношей в легком весе). Женщина, которая видела его во время боя с тяжеловесом, сказала: «Я никогда не думала, что бокс такой красивый вид спорта!».

Каждый, кто имел с ним дело, отмечал его широкую эрудицию и точность. Где бы он ни выступал с меддокладами, все слушали его зачарованно. Обязательно председатель конгресса отмечал его замечательный русский язык, которым он владел в совершенстве. Я помню с детства подаренный блокнот, на котором учительница русского языка написала: «Мальчику, владеющему оружием слова».

Мои муки начались, когда он начал писать бардовские песни. В ту пору это движение только зародилось и не было столь популярным как впоследствии. Каким-то образом он достал пленки Ю. Кукина и А. Городницкого. Записи были очень плохие (в ту пору входу были катушечные магнитофоны). Часто рвалась пленка, иногда надо было напрягаться, чтобы разобрать слова. Но были покорены авторами песен, которые никогда не писали по заказу, и отсутствием «патриотизма», который в нашей стране часто принимал уродливую форму.

Когда он написал первую песню «На смерть геолога Погребницкого, то посвятил ее Александру Городницкому, сопроводив песню краткой речью, о чем Городницкий до сих пор не знает.

Однажды я пришла к брату, а он весь сияет:

– Я песню написал бардовскую. Ничего не подозревая, я ему говорю:

– Изобразишь? – вместо ответа он сунул мне в руки гитару.

– А ты пиши музыку и играй. Я отчаянно завопила:

– Ты что, с ума сошел! Я в жизни гитару в руках не держала. Мне с трудом удалось подобрать несколько аккордов, и фабрика заработала. Но как уже упоминала, мой гениальный братка был начисто лишен музыкального слуха, а я, в свою очередь, в силу своих заурядных способностей, ничего не могла противопоставить его гениальности. Но тут я отрывалась по полной. Я, изображая возмущение:

– Ты будешь петь правильно, или нет? Он жалобно говорил:

– Ну почему у меня не получается? А я ему мстительно отвечала:

– Потому что у тебя нет музыкального слуха. Он долго не мог смириться с этим.

Он был страстен во всем. Я помню, как во времена моего детства я слушала, как он ходит по комнате и в буквальном смысле слова орет или поет стихи, отбивая ритм шагами. Надо сказать, что брат страдал полным отсутствием музыкального слуха, возмещая это свой дефект громкостью. Поначалу это была леденящая кровь песня, от которой у меня мурашки появлялись на коже «Лишь только в двенадцать часов китаец-слуга открывает засов. Дорога жизни одна – ведет нас к смерти она». Постепенно появились Вертинский, а из стихов – Ахматова, Пушкин, Ахмадулина, Вознесенский и другие. Но страсть орать стихи осталась, и, как правило, длилось это очень долго, так как память у него была превосходной, и всегда заканчивалось одним и тем же. Папа, который сидел за наглухо закрытой дверью и как всегда готовился к лекции, не выдерживал: «Да кончится это когда-нибудь?!» И все ненадолго затихало. Но ненадолго.

Любовь к поэзии мне, несомненно, привил мой брат. Ведь все закладывается в детстве.

Ему все давалось так легко. У него было совершенно потрясающее чувство юмора. И здесь мы с ним сходились. Мы любили одни и те же книги. (Ильф и Петров, Нодар Думбадзе, Джером Джером) и похохатывали от смеха в одних и тех же местах.

Как он любил природу! В отпуске (а они тогда были длинными – до одного месяца и более) он ездил иногда на лошадях, иногда ходил пешком в самые глухие места России. Где-то находил одинокие избы, спал на сеновале. И предавался еще одной страсти – ужению рыбы. Никогда не пользовался браконьерскими методами. Говорил: «Мне с рыбой надо побороться». Однажды мне посчастливилось бродить с братом по Горному Алтаю, и много было тишины, а ночью – стихов и песен у костра. И я вспоминаю эти дни как счастье.

Прошло много лет со дня смерти моего брата. Но каждый раз, когда память возвращает меня в прошлые годы, я вспоминаю брата, и сердце отзывается глухой болью.



**ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
ПЁТР ИВАНОВИЧ ГУРОВ**

*Память, память за собою позови
В те далекие, промчавшиеся дни.
Ты друзей моих ушедших оживи,
А друзьям живущим молодость верни...*

С Виктором Ильичом я был знаком недолго, всего лишь пять лет, вплоть до его смерти. Но при первой же встрече он произвел на меня самые приятные впечатления, подтверждающие его славу, ходящую среди нашего медицинского сообщества и населения: симпатичного, умного, доброго, с широким кругозором человека, энергичного, врача хирурга, крупного специалиста в области торакальной хирургии.

Речь его была грамотной, звучной, иногда артистичной, четко выражающей мысли, движения умеренные и разумные, соответствующие актуальности обсуждаемой проблемы. Особенно загорались его глаза, менялась мимика лица при обсуждении вопроса организации в нашей области специализированной медицинской помощи людям с заболеваниями легких (туберкулез, онкология, гнойные воспалительные заболевания и повреждения).

Он поддержал меня в необходимости создания единого областного специализированного центра торакальной хирургии, с чем не соглашался главный врач областной больницы. И мы добились своего.

Я уважал Виктора Ильича как человека, хирурга высокой квалификации и относился к нему с большой симпатией. На заседаниях хирургического общества, членом которого он являлся, его научно-практические доклады, артистическое изложение материала, сопровождение его иллюстрациями, демонстрацией больных, всегда привлекало большое число слушателей, среди которых были врачи различных профилей... Его приглашали выступать на конференциях, съездах, симпозиумах специалистов СССР и РФ с публикацией результатов исследований, которые, как правило, были связаны с большим практическим хирургическим опытом.

Виктор Ильич окончил Саратовский государственный медицинский институт в 1955 году и на протяжении многих лет работал рентгенологом, анестезиологом-реаниматологом, имел высшую категорию по фтизиатрии и легочной хирургии. В расцвете сил и врачебного опыта, в возрасте сорока лет, в 1972 году по конкурсу был избран на должность заведующего отделением легочной хирургии Орловского областного противотуберкулезного диспансера. До сентября 1973 года врачи-специалисты, койки, оборудование были разделены и не могли обеспечивать круглосуточную специализированную медицинскую помощь населению. В ночное время приходилось вызывать специалистов для операций из дома.

После переезда в новый корпус отделение увеличилось с тридцати до семидесяти пяти коек, а врачебный коллектив на одного хирурга-ординатора первой категории.

С приходом в диспансер Виктора Ильича активизировалась хирургическая деятельность отделения как по количеству, так и по характеру производимых оперативных вмешательств. Значительно возросла хирургическая активность в отношении больных с распространенными и запущенными формами туберкулеза легких.

Так, в 1973 году, после прихода Виктора Ильича, было выполнено сто тридцать шесть операций, тогда как в 1972 году – семьдесят. При этом одиннадцати больным по его методике произведено перемещение диафрагмы с хорошим клиническим эффектом. Полная ликвидация плевральной полости при пульмонэктомии также по его методике осуществлена двум больным с хорошим клиническим эффектом. В дальнейшем с каждым годом число производимых Виктором Ильичом операций возрастало, а результаты хирургических вмешательств улучшались. В отделении ежегодно выполнялось до ста восьмидесяти операций, в том числе принципиально новых для лечения больных с тяжелыми формами туберкулеза, как операции на культях главных бронхов, трахеобронхиальные анастомозы, пневмонэктомия с одновременной полной ликвидацией плевральной полости и другие. Летальность за 1978–1982 годы не превышала одного процента, что являлось рекордом по стране.

В 1981 году в облтубдиспансере созданы лечебно-трудовые мастерские, сорок процентов больных охвачено трудовой занятостью, что способствовало быстрейшему восстановлению их здоровья.

Среди больных проводилась большая воспитательная санитарно-просветительная деятельность. Действовал лекторий общества «Знание» и кабинет санитарного просвещения. Использовалась имеющаяся киноаппаратура, радиоаппаратура, актовъй зал на триста посадочных мест, бильярдная. Особое внимание уделялось эстетическому оформлению отделений и комнат отдыха для больных, а также художественной самодеятельности.

Целенаправленную работу проводило научное общество фтизиатров, организованно внедрялись научные достижения в практическую деятельность, повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

Я привел эти сведения для того, чтобы был оценен высокий уровень хирургической квалификации Виктора Ильича в те далекие годы. Именно так его оценивали специалисты из Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. И если мы по недоразумению направляли в центр единичных больных, то их возвращали назад с припиской, что в г. Орле есть торакальный хирург высшей категории В.И. Кузник, владеющий всеми самыми современными методами обследования и оперативного вмешательства на легких не хуже московских специалистов.

Виктор Ильич является организатором художественного творческого коллектива диспансера, в который входили шестьдесят пять сотрудников. Программа выступлений актёров отличалась многообразием жанров, хорошим исполнительским мастерством и тепло принималось зрителями и особенно ветеранами Великой Отечественной войны. Также большое внимание привлекали поэтические спектакли, автором, режиссером-постановщиком и ведущим актером которых был Виктор Ильич. Коллектив являлся неоднократно дипломантом смотров художественной самодеятельности медицинских работников области

Прошло около ста лет со дня становления фтизиатрической службы на Орловщине... История развития службы соткана из

множества человеческих судеб, оставивших яркие страницы на разных этапах большого тернистого пути. И одна из ярких страниц этой истории принадлежит рентгенологу, анестезиологу-реаниматологу, хирургу, фтизиатру, ученому, поэту, артисту, режиссеру, замечательному Человеку – Виктору Ильичу Кузнику. В 2022 году исполнилось тридцать восемь лет, как он покинул нас, не успев реализовать свои планы, способности и талант. Его смерть – 14 мая 1984 года стала невосполнимой утратой не только для здравоохранения города Орла, но и для всей отечественной пульмонологии.

Память о Викторе Ильиче Кузнике сохранена в местной периодической печати, сборниках научно-медицинских изданий, фотографиях, наших сердцах. Как наказ каждому, кого он любил, кого исцелил и выходил бессонными ночами, звучат слова стихотворения, написанного Виктором.

*Мигни мне лучиком любви
Над лесом, летом опаленным,
Я ухожу меж желтых кленов,
Ты – оставайся, ты – живи...»*

Таких, как Виктор Ильич Кузник, история и все, кто его знал, трудился с ним, лечился у него, не забывают.



ГЛЕЙМ ЛОЛИТА

Прочитав повесть, отбросив все страхи быть неправильно понятой и показаться фамильярной, хочу сказать Вам

«Здравствуйте, дорогой мой Борис Ильич!»

Спасибо Вам за публикацию «СУДЬБЫ НАШИ» – повести вашего брата Виктора Ильича Кузника. Прочитала на одном дыхании. Интересно было читать всё: и словесные портреты персонажей, и описание внутреннего мира героев, и даже описание хирургических операций, в коих я ничегошеньки не соображаю, поскольку далека от медицины (я школьный учитель, веду изобразительное искусство). Описание эскулапского чародейства и волшебства так прекрасно адаптировано для понимания широким кругом читателей, что мне даже показалось, я вижу эти процессы, происходящие то в операционной, а порой даже и в воздухе – ну просто дух захватывает....

С Вашим братом, Виктором Ильичом, папиным другом (для нас он был просто дядей Витей), мы жили в одном доме, наша квартира была расположена прямо над ними. Я дружила с Олей, дочкой дяди Вити (теперь, насколько мне известно, она в Израиле) и Леной Бахшаевой, дочкой тётки Веры, той самой операционной сестры. Нам с Ленкой было по пять лет, мы до сих пор поддерживаем связь. Оле было семь. Мы приехали в Барнаул в феврале 63-го. Я чётко помню всё: как познакомилась с Леной и Олей в подъезде – мы с братом находили особенный кайф в беготне по ступенькам – ведь до этого мы жили в частных домах... Помню дядю Гену Новикова, который жил со своей семьёй этажом выше, как усердно он разгружал контейнер, когда мы заселялись. ...Дядю Костю Старшинова... Когда я впервые увидела портрет Маяковского, мне показалось, что он очень похож на дядю Костю. Замского в лицо не помню, но точно помню, что в гостях он со своей семьёй у нас был. Помню его сына Семёна.

Но совершенно обособленно среди всех стоит дядя Витя. В августе 73-го года он спас нашу маму. ...Оперировал её по поводу опухоли в бронхах (простите, я даже не знаю, как правильно сказать «в бронхах» или «на бронхах»). Операция была сложная, и я даже не

знаю, каким чудом Виктор Ильич оказался в тот момент в Барнауле, насколько помню, он тогда уже перебрался в Читу.

И осталась ли бы в живых, достанься она какому-нибудь другому хирургу. Поклониться бы ему до земли... Он подарил нам маму на ещё одну жизнь. Она прожила восемьдесят один год, а когда её оперировали, ей было – сорок...

Светлая память светлomu Человеку, Мастеру, Герою.

Кланяюсь Вам, дорогой Борис Ильич! За Ваш неустанный труд на благо людей. За эту книгу, которая благодаря Вам увидит свет, за то, что нашли нас, и мы с братом совершаем теперь это путешествие во времени в пору нашего детства, когда наши родители были молоды, были живы... Наша младшая сестра Аня, ей сейчас сорок, тоже с радостью прочтёт повесть – ей интересно всё, что касается нас и родителей, и имена многих папиных друзей у неё на слуху.

Сохранились даже какие-то открытки от дяди Вити. Отправлю и Ленке в Барнаул (Бакшаевой). Вот будет удивлена!..

Смотрю в Ваши глаза, Борис Ильич – как вы похожи с дядей Витей! Сердцем обнимаю Вас и благодарю бесконечно... Здоровья Вам, здоровья и ещё раз здоровья!»



СТАТЬИ О ВИКТОРЕ КУЗНИКЕ...

ВАЛЕНТИНА НОВОШИНСКАЯ

ОН БОЛЕН БЫЛ ДОСТОИНСТВОМ И ДОЛГОМ

О докторе Кузнике я впервые услышала в начале 90-х от героя одной из своих газетных публикаций. Он, в частности, рассказал, что почти умирал от какой-то сложной легочной болезни, и родственники, используя все возможные связи, устроили его в одну из столичных клиник. Когда профессор узнал, из каких краев больной приехал в Москву, он даже рассердился: «Как можно было везти вас в такую даль, если под боком, в Орле, оперирует больных с опухолями доктор Кузник? Да мы из Москвы уже не один раз отправляли больных с опухолями к Виктору Ильичу, и он возвращал людей с того света».

Вернул он к полноценной жизни и моего героя, который и спустя более двадцати лет после операции был работоспособен, возглавлял большой коллектив, слыл хорошим мужем и отцом. Странно, его фамилия с годами забылась, а имя доктора память для чего-то сохранила. Для чего именно, я поняла спустя годы, когда познакомилась со Светланой Юрьевной Кузник, которая и рассказала мне о своем первом муже, известном враче-фтизиатре, талантливом хирурге и... поэте. Она прочитала его стихотворение «Дон Кихоты», и строки «Дон Кихоты из пехоты,/ Не мужчины – пацанье,/ Вниз лицом легли в Болото,/ В отражение свое»/ показали мне знакомыми, некогда слышанными под чью-то гитару. Она подтвердила: да, музыку к этому, как и ко многим другим стихам Виктора Ильича, написала его сестра Зоя, и песня «Дон Кихот» пошла в народ. Ныне здравствующий брат автора, доктор медицинских наук и член Союза писателей России, профессор Читинской медицинской академии Борис Ильич Кузник в своих воспоминаниях пишет, что однажды при встрече с Булатом Окуджавой прочел ему эти строки, и известный бард не поверил, что они написаны врачом: «Так может написать далеко не каждый профессиональный поэт».

А Виктор Ильич все делал профессионально. В скромных условиях областной больницы впервые в мировой практике фтизиатрии, когда в столицах и за рубежом еще экспериментировали на собаках, он сделал две успешные операции по пересадке диафрагмы. За двадцать пять лет врачебной деятельности в Саратове, Барнауле и в Орле Виктор Ильич выполнил около четырех тысяч торакальных операций, многие из которых – впервые во фтизиохирургии. В сборнике «Актуальные вопросы науки и практики орловского здравоохранения», вышедшем в 1991 году, на двух страничках, посвященных памяти В. И. Кузника, размещен и большой абзац перечислений мудреных патологий легких, бронхов и трахеи, которые успешно оперировал талантливый хирург, внедряя в практику авторские методики и приемы. Едва ли не каждая из сорока его научных публикаций в медицинской литературе становилась событием для коллег-хирургов всего Союза, его сообщения на медицинских конференциях и съездах собирали переполненные залы и вызывали восторженные аплодисменты. Светлана Юрьевна вспоминает, что столичные профессора и академики не раз предлагали мужу обобщить уникальный опыт и написать хотя бы кандидатскую диссертацию, но он был напрочь лишен честолюбия и к тому же имел собственное понятие о долге врача и своем предназначении: «Если я достоин ученой степени, то пусть ее присвоят без защиты, – говорил он жене в таких случаях. – Почему я, как студент, должен сдавать экзамены и тратить время на переписывание того, что мною уже опубликовано в журналах. Мне некогда, меня ждут больные».

Это были не дежурные отговорки и, тем более, не кокетство. Его действительно ждали прооперированные им больные. Доктор Кузник был удивительным, уникальным врачом. Своим коллегам и пациентам он запомнился еще и тем, что после трудной операции он буквально дневал и ночевал возле больного, выхаживая его лучше самой опытной сиделки, оперативно внося коррективы в послеоперационное лечение. Уговорить его пойти домой, отдохнуть не имело смысла: доктор считал своим долгом быть с больным во все критические для его здоровья дни. И очень часто добивался невозможного: возвращал к жизни даже тех, от кого, приговорив без-

надежным диагнозом, отказывались в специализированных онкологических центрах Москвы, Ленинграда, Новосибирска. Хорошая новость из реанимации была для него дороже всяких наград.

Такую же большую радость он способен был испытывать еще от... удачно найденной рифмы. Но так же, как и к написанию научной диссертации Виктор Ильич крайне небрежно относился к своему поэтическому творчеству, не считая это серьезным для врача занятием. На то были причины иного рода: «Что значат мои строки, когда есть книги Пушкина и Блока, Тютчева и Шекспира!» Он никогда не делал попыток что-либо опубликовать, искренне полагал, что тревожащие его рифмы – всего лишь способ самовыражения, которое никого, кроме него и самых близких людей, не касается. Никто не знал, когда он писал стихи – специально для творчества он никуда не удалялся и не уединялся. Правда, в сибирский период жизни любил охоту, с которой помимо трофеев привозил часто и обрывки школьных тетрадей с наспех набросанными строками. Однажды привез стихотворение, которое заканчивалось такими словами:

*Здесь синей вечности пророчеством,
Наглядной антитезой веку,
Так нестерпимо одиночество,
Что лошадь жметя к человеку.*

Тема одиночества проходит сквозь поэтическое творчество Виктора Кузника во все периоды жизни. Его близкие вспоминают, что не все понимали и принимали подвижничество хирурга, сталкивался он и с завистью, страдал и от предательства. Именно страдал, потому что был совершенно беспомощным перед всякой непорядочностью, превыше всего ценя в человеке внутреннее достоинство и чувство долга. Сам был безнадежно и неизлечимо болен этим чувством, о котором сказал в поэме «Отголоски», посвященной одному из любимых авторов – светлomu человеку Антуану де Сент-Экзюпери:

*...Слепыми выпускают в темноту
Детей, больных достоинством – и долгом.*

Эта «болезнь» и привела врача-хирурга к преждевременной кончине. Он занялся своей болезнью только тогда, когда даже скальпель академика М.И. Перельмана, глубоко почитавшего талант доктора Кузника, не мог спасти. Виктор Ильич не дожил десяти дней до своего пятидесятитрехлетия. Его смерть стала невосполнимой потерей не только для здравоохранения Орла, но и всей отечественной пульмонологии – так говорили специалисты в мае 1984 года.

Двадцать четвертого мая медперсонал тубдиспансера помянул доктора Кузника: в этот день ему исполнилось бы семьдесят пять лет. К этой дате его старший брат, человек с таким же обостренным чувством долга, буквально по крупицам – с помощью старых друзей, родственников, знатоков и поклонников авторской песни – собрал большую часть поэтического наследия Виктора Ильича, и при поддержке спонсоров города Читы, почетным гражданином которого является, издал небольшой сборник стихов «Я живой, взгляните на меня». На сборник тепла откликнулись средства массовой информации Забайкалья, в медицинской академии прошел большой поэтический вечер, на котором почти 80-летний Борис Ильич Кузник рассказал, что от брата осталась и книга добротной прозы о работе хирургов, которую – будут силы и средства – он тоже хотел бы издать. Может, Орел тоже подсуетится – и поможет в издании книги прекрасного человека и хирурга, который только в нашем городе спас от смерти, избавил от страшного недуга более четырех человек? Как наказ каждому, кого он любил, кого исцелил и выходил бессонными ночами, звучат слова стихотворения, написанного Виктором Ильичом незадолго до ухода:

*Мигни мне лучиком любви
Над лесом, летом опаленным,
Я ухожу меж желтых кленов,
Ты – оставайся, ты – живи...*

ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК ИННА ВИКТОРОВНА ДНЕПРОВСКАЯ

О ПОЭТЕ ВИКТОРЕ КУЗНИКЕ

Когда-то, отвечая на вопрос о достоверности фактов биографии одного из поэтов, я написала, что в отношении поэта невозможно жизнеописание – биография. Ибо вся жизнь поэта – это духописание. Все события в жизни поэта – это события духа. Событие его духа с дыханием всего в этом мире – от капли – до неба, от червя – до человека. Единственный достоверный факт в жизни поэта – факт его рождения. Стихи – это единственное удостоверение личности поэта и документальное подтверждение фактов его события с нами в этом мире.

И знакомство с поэзией Виктора Кузника только подтвердило это моё понимание поэзии.

Когда я впервые случайно наткнулась в интернете на его стихи, я ничего не знала о нём. Фамилия мне была известна по его брату – Борису Кузнику, но и то, что это его брат, я не знала и даже не соотнесла.

Я не знала, что Виктор Кузник – легочный хирург мирового класса. Но, прочитав его стихи, я точно знала, что этот человек дает людям возможность дышать. Потому что именно это непроизвольное желание – дышать, дышать полной грудью, оттаивать дыханием жизнь – поднималось за ребрами, раздвигало их, освобождая дух и душу, когда я читала его стихи, а это были стихи Мультинского цикла. Вернее, не во время чтения, а на исходе него. Потому что, когда читаешь их – замираешь, отмираешь, снова замираешь. Дух то захватывает, то отпускает, и он летит. Но на последних строчках – всегда одно – живу! Дышу – радость-то какая!

Да, я потом узнала, что именно отдышаться, надышаться он приезжал на эти озера, а потом снова возвращался к хирургическому столу, чтобы возвращать людям возможность дышать.

Это не профессия его – это то, зачем душа его приходила в наш мир. Послушайте:

По нервам, по зрачкам – Мультиинские...
Не просыпаться!.. Это сказка!
Я потрясенно зубы стискивал
На спуске, скользком и опасном.

Здесь синей вечности пророчеством,
Наглядной антитезой веку,
Так нестерпимо одиночество,
Что лошадь жметя к человеку.

Костер старается над чайником,
На гальке – развалюха лодка...
И страшно зашуметь нечаянно –
Здесь тишина такая ломкая...

А ночь над буреломным логовом
В «Шумах» водой кипит и бесится
Над чернотой камней, изломанных
Кривой ухмылкой полумесяца.

Мне вспоминать и зубы стискивать,
И грезить синим побережьем...
Три голубых огня – Мультиинские, –
Маралий гон и след медвежий.

Когда от боли и бездомности
Сдыхал я, нервам потакая,
Меня спасали три бездомности,
Три синих донора Алтая.

Вот это – жить! Дышать! – как заклинание, что в движении скаль-
пеля, что в движении слова в стихе.

Одно из стихотворений этого цикла так и называется – Закли-
нание.

Это стихотворение удивительно по своему звукоряду – оно зве-
нящее. И оттенки этого звона очень разные – от заблудившегося во

тьме дорожного колокольца, до заутренней звонницы. Оно звучит, переливается звонами. И его звучание еще долго остается и очень медленно затихает, когда последняя строчка отзвучит.

Опять Мульта... Опять Мультиинские...
Но в синь возносит высота
Над затемненными глубинами,
В маршруты почты голубиной
Оранжевый конверт-записку,
Вираз осеннего листа.

Мульта, не оттолкни скитальца!
Из бездуховности верни!
Всади в заплечные ремни.
Саднящей ссадиной рябиной,
Биноклем, ржавым карабином
И леской, рвущейся из пальцев,
Мой непокой обремени!

Обремени себя собою,
Осенний день – излетным зноем.
Добром пришельца помяни!
Идти под снег повремени.
Прими осеннюю путину
Плывущей лесом паутины.
Зрачкам озера распахни!
Обремени орехом кедры,
Покоем – ночь, а песню ветра
Мелодией обремени...

Да будет бремя это легким...
Да будет стаям перелетным
Стезя миграции мягка.
Да будут, да не выцветают
В трехверстке Горного Алтая
Три синих нежности, три тайны,
Три вечности, три василька.

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ МАКАРОВ

ЕГО ЗВЕЗДЕ ГОРЕТЬ ЯРКО И ДОЛГО...

*(К выходу в свет книги В. Кузника
«Я живой – взгляните на меня». Чита. 2005)*

*...Бессмертье впереди
Со смертью позади*

В. Кузник

У Больших людей – Большая работа, Большая любовь, Большое неприятие мелко-постного бытия, большие, пусть не всегда достижимые цели, Большое сердце, Большая душа, Большая жизнь...

Большим людям всегда живется трудно. Им тесно в мире, где во все времена законодательствуют условности, где каждый должен работать, любить, жить как все, где любое отступление от раз и навсегда общепринятых правил воспринимается или как бунт, или, что еще хуже, как психическое заболевание...

...Он был Большим человеком и был болен... достоинством и долгом.

*...Слепыми выпускают в темноту
Детей, больных достоинством и долгом.*

*Поэма «Отголоски»
(по мотивам Антуана де Сент-Экзюпери)*

В. Кузник

Виктор Ильич Кузник.

Он был врачом.

Вот как говорит о нем его брат – доктор медицинских наук, профессор, лауреат Правительственных премий СССР и России, член Союза писателей России, почетный гражданин Читы, человек, воспитавший целую плеяду прекрасных специалистов своего дела – кандидатов и докторов медицинских наук – Борис Ильич Кузник:

«Брат был потрясающим врачом. Именно потрясающим. Он умел не только оперировать, он умел выхаживать больных. После тяжелой операции он по нескольку дней, а то и недель не выходил

из реанимационного отделения. Он спал тут же, рядом с больным, отзывался на каждый его стон или просьбу. Своего больного он не доверял никому из коллег и сам по ходу болезни корригировал лечение. Я знаю случаи, когда он по три, четыре недели не появлялся дома, боясь на минуту оставить больного без присмотра. И ведь добивался своего! И делал это не за деньги, а по велению сердца. Так ему велел его врачебный долг».

О мастерстве, да что там – о мастерстве – о таланте врача-хирурга Виктора Ильича Кузника говорит хотя бы такой факт. Он впервые в мире, когда еще даже не проводились опыты на животных, сделал две успешные операции по пересадке диафрагмы больным. Его выступления на научных обществах, конференциях, съездах всегда встречались громом аплодисментов. Самые маститые ученые страны не раз и не два предлагали ему написать хотя бы кандидатскую диссертацию и прочили достойное место в своих рядах.

Но у него – великолепного практика, врача, обладающего огромными практическими и теоретическими знаниями, человека, отнюдь не лишённого самолюбия, уточним – хорошего самолюбия, того самого, которое не позволяет даже в мелочах пятнать свою честь и совесть, было свое понятие о достоинстве.

– Если я достоин ученой степени, то пусть мне ее присвоят без защиты, – говорил он брату, когда тот тоже пытался заговорить с ним на эту тему. – Почему я должен, как мальчишка, сдавать экзамены и тратить время на описание того, что уже опубликовано в журналах... Мне некогда, меня ждут больные.

А еще у него, Виктора Ильича Кузника было... две души. Да-да, – две души. Вот как он сам говорит об этом:

*Осталось только к черту на рога!
Дырявя бури, с Богом препираясь,
Я две души несу сквозь ураган,
На пустоту крылами опираясь.*

*Поэма «Отголоски» (по мотивам Антуана де Сент-Экзюпери)
«Ночной полет» (Смерть Фабьена)*

Надо ли говорить о том, что в этих строках речь идет не только о пилоте, имя и подвиг которого обессмертил один из любимых писателей В.И. Кузника – Антуан де Сент-Экзюпери...

И надо ли уже говорить о том, что подразумевал, говоря о второй своей душе, прекрасный врач, отдавший душу делу спасения и исцеления людей...

Ну конечно же, второй своей душой Виктор Кузник называл поэзию.

Да, он был поэтом.
Всё на свете испытали,
Что там память ворошить?
Сколько их необитаемых
Островов твоей души.

А в разлуке всё не просто.
Вот и я устал, продрог...
Подари мне, ну не остров,
А хотя бы островок.

Дни уложатся в недели,
А недели в год и два...
Всё на свете перемелют,
Перемешат жернова.

А на скользких циферблатах
Стрелок острые ножи...
Странный рыцарь в ржавых латах,
Ты хоть что-нибудь скажи.

Только праведник злосчастный
Промолчит. А он-то знал,
Знал, что мельницы ужасны –
Убивают наповал.

Жерновам своя работа,
И свои мечты и сны:
Перемелят Дон Кихотов
В тех, кому они смешны...

(«Дон Кихот»)

Поэт, болеющий достоинством и долгом – Поэт Достоинства и Долга?

Да, конечно же, нет.

Он обращается к нам – своим читателям, своим современникам, и к тем, кто будет жить и читать его стихи, петь его песни после нас. Ведь у настоящей поэзии нет возраста, нет временных границ. Она безгранична и бессмертна.

*...И рука колоть устанет,
Как там рыцарь не воюй.
И двадцатый век настанет
Растоптать мечту твою.*

*Будет мельницам работа –
Нынче люди, что трава...
Будут падать Дон Кихоты
Головою в жернова...*

Из какого века, из какого времени говорит Поэт о XX веке – веке, в котором ему суждено родиться, жить, работать, бороться, любить, страдать...? – из века, из времени Дон Кихота? Из века более позднего – 18-го...19-го...? Поэту доступно, открыто любое время. Он Сын любого века. Ибо у Поэта, Настоящего, Большого Поэта нет возраста и для него не существует ни временных, ни иных границ.

Поэт Виктор Кузник – Большой, Настоящий Поэт.

...Уставая в борьбе с отнюдь не ветряными мельницами – с равнодушием, пошлостью, ложью, порой находясь на грани отчаяния в ожидании чуть приметной удачи, бредущей во мгле, цепenea от разлук, от мерзлоты человеческих душ, от плача выюг, от криков и угроз в спину, понимая, что надо бы жить иначе – спокойнее, комфортнее, теплее, Поэт снова и снова отправлялся в путь туда, где была нужна его помощь, туда, куда его звали-призывали его Долг и Достоинство.

Он хотел быть и был сильным, волевым человеком. Недаром же основное, стоящее в книге в центре ее (так стоят среди гор самые

величавые, блещущие вечными снегами, вершины) произведение – поэма «Отголоски» написана по мотивам сильного, волевого Большого Человека и Большого Поэта (поэтом может быть и человек, не написавший ни одного стихотворения) – Антуана де Сент-Экзюпери. А среди стихов-портретов выделяются стихи «Эрнест Хемингуэй», «Владимир Высоцкий», «Франсуа Виньон»...

Виктор Ильич Кузник.

Он был Врачом, Большим, Настоящим Врачом.

Виктор Ильич КУЗНИК.

Он был Поэтом. Большим, Настоящим Поэтом.

Виктор Ильич КУЗНИК.

Он был Человеком, Большим, Настоящим Человеком.

«...Когда я читаю стихи брата, у меня болью сжимается сердце. Он умер, не дожив десяти дней до пятидесяти трех лет», – пишет в статье «О моем брате», заключающей книгу «Я – живой, взгляните на меня», Б.И. Кузник.

Мне же, только что повторно перечитавшему стихи Виктора Кузника, очень не хочется, чтобы рядом с его именем стояли слова «смерть», «умер». Такие люди, как он, не умирают. Они уходят от нас, оставляя нам плоды своего труда, своего вдохновения. Они оставляют нам свой свет, свет своих сердец, своих душ, на который будут ориентироваться в своем пути наши дети и внуки. А потому этот очерк о жизни и творчестве Виктора Ильича Кузника я осмелюсь заключить строками своего стихотворения:

Люди уходят.

И где-то в холодных просторах

Вселенной

Гаснут уставшие звезды,

Роняя зеленые искры,

Которые круто, со свистом

пронзая пространство,

Несутся к Земле
И сгорают, ее не достигнув.
А люди другие,
Живущие дальше и больше,
Смотрят, как искры зеленые
Тают в безоблачном небе,
И думают:
– Может быть, это на счастье...
И нет в том ошибки.
Люди уходят.
Но все, что сумели достичь
и исполнить,
Детям своим оставляют,
Внукам своим оставляют,
Братьям своим оставляют,
Для счастья.

Такие люди, как Виктор Ильич Кузник, не умирают.

Они целиком и полностью отдают себя людям и уходят, превращаясь в звезды. И свет тех звезд струится на Землю ярко и долго...



ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА СТЕФАНОВИЧ

«ОКАМЕНЕВШЕЙ НЕЖНОСТИ ПЛАСТЫ»

(Предисловие к сборнику «Я живой – взгляните на меня».
Чита. 2005)

Настоящий талант, по крайней мере во мне, вызывает чувство почтительного восторга и трепета. Но за всю мою жизнь я помню не более пяти – шести случаев, когда прочитанная рукопись или книга вызвала в моей душе этот восторг и трепет и немедленное желание к кому-то куда-то бежать, поделиться радостью открытия, процитировать поразившие воображение строки.

Так было с рукописью стихов Виктора Ильича Кузника, которую мне однажды принёс мой старый друг Борис Ильич Кузник. Он ничего поначалу не рассказывал о брате, просто протянул стопку белых листов с отпечатанными строками и попросил:

– Прочтите, пожалуйста.

И я взялась читать...

Какой замечательный, праздничный для меня выдался вечер – вечер знакомства с поэзией превосходного врача и, как выяснилось, совершенно удивительного поэта Виктора Кузника.

От многих строк сжималось сердце и набегали слёзы на глаза:

Назад не смотреть! Ни о чём не жалеть!
Сгореть, как осенней листвы позолота.
И волоком тащит по грешной земле
Меня самолёт мой. Я тень самолёта.
Любовь уплывает – извечный мираж:
Везёт подлецам, не везёт Дон Кихотам.
Мой пьяный азарт – это выход в тираж,
И я понимаю: я – тень самолёта.
Я тень самолёта. Но если летун
Свечой вертикальной уходит в атаку,
Я точкой бескрылой горю на лету
В последнем пике с отрицательным знаком.
«Тень самолёта»

А это потрясающее дарование – способность видеть, ощущать красоту и неповторимость окружающего мира, мига на земле, любви!

Весь в полыни, мяте, повилিকে,
По примятым тропам днём и ночью
Бродит август миллионноликий –
Я один из ликов полномочных.
Мы друг другу нипочем не в тягость.
Мы одни в медлительных рассветах:
Я, убийца прошлого, и август –
Золотой самоубийца лета.
«Август»

Прости – прощай, моя Мульта!
Моя оранжевая, ржавая!
Судьбы моей, стопа державная!
Прощайте сопки, омота!
Спасала спасом на крови,
Звала луной, ветрами, звёздами,
Звала ручьём, звала берёзами,
Теперь дождями позови!
Царицей осени цари,
Настойки пьяные настаивай,
В ночных туманах не истаивай,
В лесных пожарах не гори.
«Прощание с Мульти»

Он не стеснялся, не боялся быть нежным, любящим, восторженным, этот блистательный хирург, настоящий Доктор, настоящий Человек, безусловный поэт.

Читая стихи Виктора Ильича Кузника, я бесчисленное число раз мысленно посожалела: *«Ну почему так поздно пришли к нам эти стихи?! Это несправедливо!»*

И именно в этот момент довелось услышать изречение Конфуция, великого мудреца: *«Ничто не случается поздно. Ничто не случается рано. Всё происходит в своё время...»*.

И это смягчило моё чувство горечи и помогло на всё взглянуть несколько иначе. Да, Виктор Ильич не считал себя поэтом, писал на бегу, в редкие свободные от работы минуты. Он не собирал лично-го архива и не ставил перед собой цели – издать свой поэтический сборник или книгу прозы... Но, слава Богу, рядом с ним были люди, умевшие при жизни этого замечательного человека оценить силу его дарования, сохранить для нас эти чеканные, яркие и радостные поэтические строки, и книга всё-таки выходит в свет. Да, с нами нет её автора, но есть десятки, сотни людей, которым Виктор Ильич спас жизнь, есть его друзья, коллеги, к которым он вернётся со своей светлой и чистой душой, со своей любовью и нежностью, со своим мудрым и трагическим видением нашего бытия в этой книге. Спасибо всем, благодаря кому мы сегодня знакомимся с ещё одним замечательным российским поэтом...

И хочется эти первые беглые заметки о поэте Викторе Ильиче Кузнике закончить строками из его стихотворения, посвященного Владимиру Высоцкому:

Магнитофон фонил, но и сквозь фон
Рвалась душа. И никому и нечем
Остановить безумный марафон
На скоростях, давно не человеческих.
Тебя стихи уносят в высоту,
И стрелка недопетости на «мортум»,
Дрожа, уйдёт к чертям и за черту
И разорвет и сердце, и аорту.
Прощай, Владимир, я тебя люблю...
А буду уходить из жизни плотской,
Я дотянусь, я клавиш утоплю,
И мне взревёт отходную Высоцкий.

ЕЛЕНА ВИКТОРОНА СТЕФАНОВИЧ

ВЕК НЕ ТВОЙ, НЕ ТВОИ И ГРЕХИ...

(Предисловие к сборнику «Вновь живу...». Чита. 2007)

Всё-таки есть Бог. Вчитываюсь в строки – уже второй! – поэтической книги Виктора Ильича Кузника «Я вновь живу», и такое непередаваемое ощущение тоски и радости, печали и веры в бессмертие переполняет мою душу, что хочется выбежать на улицу, остановить первого встречного и читать, читать ему стихи поэта, который так и не увидел свои творения напечатанными...

К большому сожалению, стихи Виктора Ильича Кузника вышли в свет лишь после его смерти. Но его судьба далеко не исключение из общего правила. Вспомним хотя бы замечательного поэта, артиста и барда Владимира Высоцкого, которому посвящено одно из стихотворений в этой небольшой книге.

Листаю страницу за страницей, слёзы наворачиваются на глаза: как же это нужно жить, с какой самоотдачей, чтобы писать такое:

«...Всю жизнь хожу по острию меча
Уныло, монотонно и упрямо,
Истерзанное сердце волоча,
Прости, о, Муза, по помойным ямам».

«Скорость и ветер моя стихия...
Коршуном сгорбившись над рулём,
Ленту дороги кину в стихи я
В неудержимом пути своём...»
«Стихи о стихах»

«...Ах, под крыльями зелёными
Тяжело мне, тяжело.
Речку красками калёными
На закате обожгло.
Может ветер пахнет грозами,
Да только грозы вдалеке...

Под раздвоенной березою
Нелегко мне налегке.
Стеариновой свечечкой –
Вспышки зелени не в счёт –
На ветру берёзка мечется,
В синеву перетечёт.
А эта синяя изменница –
Перелётная стезя –
Лебединым пухом вспенится.
И – прости, прощай земля!»

Впрочем, цитировать понравившиеся, поразившие воображение строки стихов Виктора Кузника – задача неблагодарная: стихи запоминаются сами собой, цитировать хочется почти каждое.

Мне кажется, этот человек потрясающе близок любому, имеющему совестливую, отзывчивую душу, каждому, умевшему любить, сострадать, видеть прекрасное.

Поэт Виктор Кузник во всех своих лучших человеческих проявлениях просто феноменален. Вчитайтесь в строки о природе, о любви, о смысле жизни – даже в самых острых, выстраданных строках проглядывает любитель и знаток изящной словесности, интеллигент и аристократ духа. Среди обывателей существует мнение, что медики, рано или поздно, спасаясь от бесконечной чужой боли, натягивают на себя маску равнодушия и цинизма: не умирать же с каждым больным снова и снова? Я думаю, что это далеко не так. И тому пример Виктор Ильич Кузник. Он не пытался оградить себя от чужих страданий, он на самом деле болел и выздоравливал с каждым своим больным, – может, поэтому и пронёсся по небу метеором, сгорев так рано.

Но он оставил нам в наследство свет своей души, свои стихи. Мы будем перечитывать их, снова и снова возвращаясь к поразившим нас строкам.

***Виктор Ильич, спасибо Вам, дорогой,
что Вы были на этой земле.
Спасибо, что Вы у нас есть...***

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВИКТОРУ КУЗНИКУ

ШУХРАТ ТАХТА-ХОДЖАЕВ

Дон Кихот

В полях отпущенных лет,
Задыхаясь от гари и мути,
Ты искал в черной комнате свет,
Чтоб дойти до предела, до сути.

В этом сила и слабость твоя –
В тесных стенах ты жаждал полета.
Ради правды на круг бытия
Ты поднялся с копьём Дон Кихота.

Жил навзрыд, на разрыв, невпопад...
Жил всегда на пределе накала
В век, когда вместо звезд – камнепад,
Все знаменья беды и развала.

Видел ты, как тускнели слова,
С них стекала, как кровь, позолота.
Сколько жизней ушло в жернова
И Гулагов сырые болота!

Задыхаясь от мыслей и дел,
Ты летел над землей как комета.
Совместить гениально успел
Врачеванье и яркость поэта.

Век не твой, не твои и грехи...
Ты прожил эту жизнь ожиданьем.
Нам оставил, как вехи, стихи,
Не согласный с простым умираньем.

Ты зажег в темной комнате свет,
Разбежаться успел для полета...
Ты остался как Врач и Поэт
С беззащитной душой Дон Кихота...

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

*Посвящение поэту
Виктору Кузнику*

Быть человеком! Высокая доля –
Миру горящее сердце отдать,
Смело идти – как по минному полю –
Жизни и души людские спасать.

Светлая доля – быть Дон Кихотом,
Честь не терять и душой не кривить.
Мыслей и чувств вдохновенным полетом
Веру в добро на земле сохранить!

В Ваших стихах нас с надеждой планета
Просит вернуться к заветам Творца!
Если услышим мы голос поэта –
Значит живут ещё наши сердца!



СТИХИ КОЛЛЕГ

Время, стой! Замри и слушай!
Колокол судьбы звончей отбей
Торжеству законный случай:
Кузник отмечает юбилей.

Как далеки студенческие годы...
Услужливая память, помоги!
Напомни института своды
И первые врачебные шаги.

Бывали и находки и потери,
Удачи и страдания до слез,
Но кто сказал, что счастье можно мерить
Одними лишь букетами из роз?

Лишь осенью плодам присуща зрелость,
Не огорчайся, что седая голова.
Зато поняты «творческая зрелость»
Не в воздухе повисшие слова.

Теперь заезжие хирурги рады
На операции стоять, разинув рот:
Методику плевральной тампонады
Придумал Кузник, первым дал ей ход.

А в продолжении программы
Такая, в общем-то, фантастика:
Перемещение диафрагмы
И 6-ти реберная торакопластика.

Концерт закончен, шов зашит,
Гостей отпаивают бромом.
Хирург лещей ловить спешит,
Он каждый раз у нас с уловом.

Главарь больничной Мельпомены –
Продюсер, сценарист и режиссер:
Такие ввел в спектакле перемены,
Что в коллапсе жюри до этих пор.

Богиней счастья на учет ты взят,
Живи еще хотя бы пятьдесят.
Когда придет столетний юбилей.
Позвать нас только не посмей!

*Друзья-коллеги, Тубдиспансер
(авторы не известны),
г. Орел, 1981*

АНДРЕЙ ШУТОВ

Памяти Виктора Кузника

Он лечил не лекарствами –
Заботой, вниманием лечил,
Оставался в палате, чтобы здравствовал
Человек и вновь ходил.
Он лечил не советами – словами,
Что душу тронуть могли...
Никогда не забудется нами,
Как стихи помогли
Укрепить веру,
Преодолеть боль.
В этой жизни серой
Виктору Кузнику
Выпала важная роль.
Он сумел ею распорядиться,
Врачом от Бога стал...
Невозможно им не гордиться,
Очень жаль – путь был мал.

ЕЛЕНА ВОЙДЕ

АНГЕЛ-СПАСИТЕЛЬ

«Я, тень самолёта»
Писал он – а ведь в нём
кипела кровь бесстрашного Пилота
Хирурга-Доктора,
что сердцем и умом
Из пасти смерти вырывал
не раз кого-то.

Спасая от недуга,
он творил –
лечил и шил,
Душой и нервом – светом
Со смертью торговаться не любил,
Он просто скальпелем кроил
из тьмы Рассветы.

Он и сегодня греет нас теплом –
Поэт-Спаситель с ангельским крылом
Под солнцем и дождём.

А как он жизнь любил! ...
Любовь свою по жизни нёс
в долину рос...
Потом парил, парил, парил –
Как белый самолёт
над гроздьями рябин –
Багрово-красным утром синих грёз...

ЕЛЕНА ВОЙДЕ

ДУША ПОЭТА

Я никогда не видела поэта.
Мне очень жаль, но так уж выпало. Судьба.
Зато я слышу его стих, и я пишу об этом
Я верю – всё случается не зря.

Мультинские озёра на рассвете,
Таёжная страна. Такая тишина,
«Что даже лошадь жмётся к человеку».
Маралий рёв. И сосны ходят кругом,
И слышно, как рождается Заря,
В озёрах чистая вода. Тайга-подруга...

Каким он был, наш удивительный поэт?
Его стихи ласкают слух – мороз по коже.
Он мало жил, горел, любил,
Добро творил и говорил,
Что по-другому жить,
наверное, не может.

Не удалось при жизни встретиться с Поэтом
Поэтом с большой буквы и Врачом.
Людей спасал он скальпелем и светом.
Свою же нескончаемую боль
Поэт гасил отчаянным стихом.

Любил читать свои стихи в свободную минуту, и при том
Не только в уши – в душу из души врвался его голос –
На потом!

Я слышу сильный голос...
И сердцем, и умом, и тёплым свежим ветром,
И ласковым приветом – струится стих.
И Виктор Кузник входит в дом.

**ЭПИЛОГ
ОТ ВИКТОРА КУЗНИКА**

**Я вновь живу!
Воскресли бредни
Волшебных снов, зовущих глаз...
Я вновь живу! Теперь в последний,
Наверное, в последний раз!**



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>В.В. Попов. От издателя</i>	4
<i>Б.И. Кузник. «О моем брате»</i>	6
Хирург	11
Дон Кихот	12
РОДНАЯ СТОРОНА	15
«Здесь кругом над головою...»	15
«Хорошо б сейчас в Тяньцзине...»	15
«Побросав на полку книжки...»	16
«В глаз улыбкой – неба синь...»	17
«Две сосны, как две весны...»	17
«Я приметы осени ищу...»	18
«Осень ночью в дым и клочья...»	19
«Глухо осеннюю грусть пою...»	20
«Осенний день пробит слезой...»	20
«Когда улетают гуси...»	21
«Пустынны сны пустынь...»	22
Старая пристань	23
ЛЮБОВЬ... ЛЮБОВЬ	24
«Мне всё чаще снится...»	24
«Исподлобным взглядом не тревожь...»	25
«Отзвенело, улеглось, забылось...»	25
«Нет, я не выпил вас до дна...»	26
«Не буди уснувшей памяти...»	26
«Убиваться по тебе не стану...»	27
«Новый вечер на окна ляжет...»	27
«Краски серы и рыж закат...»	28
«Догорает сигарета...»	29
«Гитарю в сердце старый звук...»	30
«Ты во сне мне никогда не снилась...»	30
«Звёзды падают с неба...»	31
«С пригорочков любви пологая дорога...»	32

Метель.....	32
«Хватит ночами тем...».....	33
«А я ночами прихожу...».....	34
«Между надолбами и лбами...»	35
Ну вот.....	36
ИРОНИЧНОЕ	38
Ироничное 1.....	38
Ироничное 2.....	38
Ироничное 3.....	39
ДОРОГА, ДОРОГА, ДОРОГА...	40
«Втянет в слякотную серость...»	40
«Ах, жизнь моя, снова начнись...»	40
«Я по утрам иду в свои владенья...».....	41
«Тяжка обязанностей гиря...»	42
«...До последнего дыханья...»	43
СТИХИ О СТИХАХ.....	44
«Всю жизнь хожу...».....	44
«Обитаю, обитаю...»	44
«Скорость и ветер – моя стихия...».....	44
«Мне не уйти от ритмов мерных...».....	44
«Всеялись ласковой улыбкой...»	45
«Отболел воображеньем...»	45
ВОЙНА	46
«Крик трубы, скороговорка барабана...».....	46
Медсестра.....	47
«Огни ресторанов, портовые ночи...»	49
Смерть корабля	49
ПЕСНИ	51
«Виноват, кругом виноват...»	51
«Над садовой скамейкой...»	53
«В голос обо мне голоси...»	55

Романс.....	56
«А на сиденье охапкой астры...»	57
«Ах, под крыльями зелёными...»	58
«Ни ответа, ни привета...»	59
Песня неудачников	60
Туристская песня	61
Зимняя песня	63
На смерть геолога Александра Погребницкого	63
«Приклада ржавого цевьё...»	65
Песня о лебединой песне	66
Первый снег.....	67
АЛТАЙСКИЕ МОТИВЫ	69
Август.....	69
«Весь в полыни, мяте, повилике...»	69
Дождь в августе	70
Позёмка	72
Чуйский тракт.....	73
МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЁРА	76
«По нервам, по зрачкам – Мультинские...»	76
«В пригоршнях, полных алых ягод...»	77
Гимн Мульте	78
Две фотографии	79
1. Чёрно-белая	79
2. Цветная.....	79
Диалог	80
Заклинание	82
День	83
Зачем?.....	85
Прощание с Мульттой (Лирический вариант)	86
Прощание с Мульттой (Вариант озлобления)	88
Отъезд.....	88
ПОРТРЕТЫ.....	90
Франсуа Виньон	90

Эрнест Хемингуэй.....	92
Владимир Высоцкий	94
ПОЭМА «ОТГОЛОСКИ	99
Цыганка гадала.....	99
Ночной полёт.....	101
Забвения предметы	103
Последний автобус	105
Эпилог.....	106
ПЕСНИ К СПЕКТАКЛЮ «МАСКАРАД» В ПОСТАНОВКЕ	
СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА «БИЦЕПС».....	108
Романс о полупредметах	108
Баллада о левизне	110
Монолог историка	111
Монолог раскаявшегося героя, предавшего друга	112
Куплеты о пантомиме	113
РАЗНОЕ	116
«В мире шорохов и скрипов...»	116
«Мне снился сон. Ужасный сон...»	116
Котик.....	118
Тень самолёта.....	119
Кони.....	121
SOS.....	123
СУДЬБЫ НАШИ. Повесть	125
Приложения к повести «Судьбы наши».....	250
Приложение 1. Мультя	250
Приложение 2. На рыбалке.....	259
О ВИКТОРЕ КУЗНИКЕ ВСПОМИНАЮТ... ..	268
Дочь Мира	268
Сестра Зоя.....	273
Пётр Иванович Гуров	276
Глейм Лолита.....	280

СТАТЬИ О ВИКТОРЕ КУЗНИКЕ...	282
<i>Валентина Новошинская.</i>	
«Он болен был достоинством и долгом».....	282
<i>Инна Викторовна Днепровская.</i>	
«О поэте Викторе Кузнике»	286
<i>Борис Константинович Макаров.</i>	
«Его звезде гореть ярко и долго...»	289
<i>Елена Викторовна Стефанович.</i>	
«Окаменевшей нежности пласты».....	295
<i>Елена Викторовна Стефанович.</i>	
«Век не твой, не твои и грехи».....	298
СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВИКТОРУ КУЗНИКУ	300
<i>Шухрат Тахта-Ходжаев. «Дон Кихот»</i>	<i>300</i>
<i>Валерий Попов. «Быть человеком! Высокая доля...».....</i>	<i>301</i>
<i>Стихи коллег. «Время, стой! Замри и слушай!..»</i>	<i>302</i>
<i>Андрей Шутов. «Он лечил не лекарствами...»</i>	<i>303</i>
<i>Елена Войде. «Ангел-спаситель»</i>	<i>304</i>
<i>Елена Войде. «Душа поэта»</i>	<i>305</i>
ЭПИЛОГ ОТ ВИКТОРА КУЗНИКА	306



Литературно-художественное издание

КУЗНИК
Виктор Ильич

Мы снова вместе...



Верстка и дизайн: *Н. Юнжакова*

Корректор: *Ц.М. Санданова*

Подписано в печать 03.02. 2023 г.

Формат 60 x 84 ¹/₈. Бумага офсетная

Гарнитура Mugiad Pro. Тираж 750 экз. Заказ № 1268

Отпечатано в ООО «Экспресс-издательство»,

672000, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 25.

Тел.: 26-02-47. Факс: 26-02-65.

www.chitaexpressbook.ru